

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА

ТУРНИКЕТ

**литературно-критические статьи
и интервью**



Санкт-Петербург
2015

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Р69



Литературный фонд
«Дорога жизни»

Общество «Молодой Петербург»
при Союзе писателей России



*Редколлегия «Молодого Петербурга»
благодарит Ханты-Мансийский Банк
и лично Дмитрия Мизгулина
за помощь в издании этой книги*

Романова, Н.

Р69 Турникет : литературно-критические статьи
и интервью / Наталья Романова ; СПб. Литератур-
ный фонд «Дорога жизни», Общество «Молодой
Петербург». — СПб. : «Реноме», 2015. — 80 с.

ISBN 978-5-91918-687-8

Наталья Романова — поэт и литературовед из
Луганска. В сборник вошли ее критические статьи
о творчестве современных поэтов и беседы с вид-
ными деятелями культуры, среди которых Вероника
Долина, Александр Кушнер, Борис Орлов, Дмитрий
Достоевский и Николай Беседкин.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Ограничение по возрасту 12+

ISBN 978-5-91918-687-8

© Н. Романова, 2015
© Литературный фонд
«Дорога жизни», 2015

**Ничего не изменилось,
Только время растворилось,
И теперь течёт во мне.
Только кровь моя сгустилась,
Только крылья заострились
Меж лопаток на спине...**

Владимир Спектор

ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИЕ СТАТЬИ

САКРАЛЬНЫЙ ХРОНОТОП В ПОЭЗИИ ДМИТРИЯ МИЗГУЛИНА

В 2014 году в поэтический мир Петербурга вошла книга стихов Дмитрия Мизгулина «Чужие сны». Вошла так, как и подобает сновидению: побуждая расшифровать сакральное в осколочной действительности, через символы задуматься о смысле человеческого бытия.

Решаю сотни теорем –
Чужих надуманных проблем.
И под покровом тишины
Смотрю всю ночь чужие сны...

Лирический герой книги путешествует по чужим снам не из праздного любопытства. В этих многочисленных мирах он учится видеть свои отражения, осмысливает суть человеческой жизни, постигая в непрерывном процессе взаимопроекции онтологические ценности, центроустремленные к образу Божьему. Человек может стереть этот образ из своей души, двигаясь по центробежному пути страстей, а может сохранить и приумножить. Выбор за каждым.

Поэт выбирает теоцентрическое направление движения и предостерегает: «Летя сквозь ночные метели,/ Неистово Богу молись,/ Чтоб мимо спасительной цели/ В беспамятстве не пронестись...».

Первая часть сборника под названием «Ночные самолеты» – о полетах во сне и наяву. Доминанты расставлены по восходящей: как само-

лет отрывается от земли и движется к небу, так и человек переходит от соматического, плотского, к желанной духовной наполненности («Закусываю хлебом и Господу молюсь!»).

Старец Амвросий Оптинский говорил: «Где просто, там ангелов со сто. А где мудрено – там ни одного». Мудренность при этом полностью отделена от мудрости, становится не столько средоточием, сколько паутиной нанизываемых смыслов; чем больше они запутаны, тем дальше отстоят от истины. В стихах о «чужих снах» нет этой ложной мудренности, в них содержится простая, вынесенная из богатого жизненного опыта и понятная каждому мудрость. В одном из стихотворений встречаем созвучие с известными словами старца. Эта реминисценция хорошо характеризует в том числе и творческий метод поэта:

И так легко и просто,
И снег валит стеной,
И ангелов штук по сто
Летает надо мной...

Ангелы «выходят» из цитаты и воспринимаются как существа реального, а не вымышленного мира, что полностью органично для православного мировосприятия автора. Его лирический герой стремится действовать в координатах духовных ценностей, хоть это и не всегда ему удается:

В потемках спотыкаюсь,
Блуждаю иногда,
Бреду, греша и каюсь,
Неведомо куда...

Но всегда перед одиноким странником стоит
цель, к которой он стремится, несмотря ни на
какие падения:

Но все ж, куда б дороги
Не завели впотьмах,
Не забывал о Боге
И каялся в грехах.

Чтобы прийти к истинному спасению, лири-
ческому герою нужно преодолеть большое ко-
личество жизненных дорог. В связи с этим осо-
бенно значим в поэтике сборника хронотоп до-
роги, во многом определяющий структуру его
художественного пространства. Слово «дорога»
встречается в книге двенадцать раз.

И нет ни привала, ни крова,
И нет ни крыши, ни дна...
Тебе лишь дорога – основа,
Тебе только вечность дана
И дали, туманные дали,
Где края достигнешь едва ли...

Двенадцать – это и количество частей года, и
часов дня и ночи, в которые скиталец соверша-
ет свой путь, и в целом основное число, симво-
лизирующее пространство и время в древней
астрономии. В культуре модель, основанная на
двенадцати, приравнивается к кругу и к идее
всеобщности в сакральной геометрии, а в сбор-
нике Дмитрия Мизгулина вырастает в идею со-
борности, в идею общности народа, идущего по
одним и тем же дорогам; конкретнее – по доро-
гам России.

На духовном пути лирического героя ждет множество препятствий. Они сужают его личное пространство, испытывают, но ему удастся выходить из замкнутых кругов благодаря религиозной мировоззренческой установке – шанс на спасение души есть всегда:

В поднебесье тускло тают звезды,
В темноте круги сужает бес,
Но поверь, что никогда не поздно
Будет достучаться до небес.

Одной из архетипических констант русской культуры является мотив дома и бездомья. В поисках Вечного Жилища лирический герой теряет значимость дома земного: его, дома, попросту нет («Полжизни прошло на вокзалах, полжизни – в аэропортах...»). Иногда поэта посещают сомнения по поводу возможности обретения пристанища в вечности, и, подобно Экклезиасту, он разочарованно размышляет: «Меняешь все без сожаленья,/ Летишь сквозь звездную метель,/ Осознавая, что движение –/ Твоя единственная цель».

Домом становится широкое пространство России: и реальное (Тобольский град, воды Иртыша), и метафизическое. В сакральной первооснове бытия – мире православных святых, – все свято и светло. С особым теплом автор пишет о празднике Крещения Господня. В это священное время и небеса открываются, превращая сиюминутное в вечное, и даже русский Иртыш – в ту самую реку, в которой крестился, по евангельскому рассказу, Иисус Христос («Стали нынче Иорданью воды Иртыша...»).

Небесные силы освещают и преобразовывают это место. В сибирской столице время будто застывает. Архитектуре Тобольска, этой «застывшей музыке», вторит даже лексика в стихотворении, посвященном Аркадию Елфимову: в дивном «граде» встречаем «собираателя русской старины»? и раскрывается перед нами...

Ширь земли – куда ни бросишь взгляд,
В небе, вперемешку с облаками,
Купола ажурные летят...

Словно рядом со своим домом лирический герой сажает дерево, которое должен посадить каждый мужчина. И снова переход в вечность:

И глаза усталые закрою.
Буду слышать в жизни неземной,
Как шумит весеннею листвою
Дерево, посаженное мной.

Неземная жизнь – это и есть тот истинный дом, куда стоит устремляться «сквозь ночные метели». В земной жизни душа поэта не имеет дома, жизнь мыслится им всего лишь как время перелетов и переездов. Лишь изредка лирический герой находит временное пристанище где-нибудь в святой лесной тиши:

За окнами синими стынет
Насквозь промороженный лес.
Молитва из этой пустыни
Быстрее долетит до небес.

Вторая часть книги называется «Ночные поезда». Поезд – еще один сакральный способ пу-

тешествовать по другим мирам; купе в вагоне становится аналогом кельи, где можно остановиться, не прерывая движения, и задуматься о жизненных ценностях. Еще один дом бездомного русского скитальца. Здесь можно передохнуть и в тишине помолиться. Молитва никуда не спешит: «Неспешно молитва вершится,/ струится речная вода...».

Однако в путешествиях и молитвах все чаще героя посещают апокалиптические предчувствия; он называет себя «времен последних зрителем»: «Но мир беспощадно железный,/ в преддверии судного дня...», «Где б испытть живой водицы?/ Всюду хмарь да мрак./ Гром греми! Пора креститься./ Да забыли, как...», «Все-ленский сумрак впереди...». И, словно вышедший из Евангелия от Иоанна, страшный финальный аккорд: «И рухнут выси небосвода,/ И грянет грозно трубный глас./ И равнодушная природа,/ Легко вздохнув, исторгнет нас».

В художественном мире «Чужих снов» возникает два противоположных хронотопа – хронотоп Святой Руси (когда «Бог – писали с прописной») и современной «Рассеи», рассеянной по миру соблазнов в десакрализованном мироустройстве. По контрасту с каменным основанием великих средних веков дом современной России «построен на песке»:

Молчим, речам вождей внимая,
Нас поглощает пустота...
И мы давно не понимаем,
Что мы не те, что Русь не та,
Что, обретая постоянство,
Не замечаем смертный тлен,
Что Богом данное пространство
Исчезло в вихре перемен.

В эсхатологическом хронотопе все чаяния поэта связаны с возможным спасением человечества «русской молитвой» («Вершится неравная битва,/ тускнеет в тумане звезда,/ но русская наша молитва/ услышана будет всегда...»), с возвращением к духовным истокам – ценностям Древней Руси, когда и чтение книг было «вкушением меда словесного». Поэт обращается за помощью к великому прошлому: «Помяни нас, Русь Святая,/ и спаси нас Бог...», «Пускай нам порой не хватало и хлеба,/ но было распахано русское небо». Он сокрушается о духовной разрухе в современной России: «Русь не та...», «грустно на Родине милой...», «А нынче – не сеем, а нынче не пашем./ Под песни чужие смеемся и пляшем», «Где теперь она – Рассея? Нет совсем ее!», «Россия – в отстое», «Ни Бога не надо, ни воли,/ не чувствуем сердцем беду./ И некому выйти во поле,/ и бросить зерно в борозду».

Прежней сакральной Руси, ее вкусным земледельческим плодам противопоставляется жестокость и бездушие «железного века», звучит тоска по возвращению хлеба насущного – земного и небесного. Выпав из христианского измерения, современная Россия отказалась от Небесного покровительства и ослабла. Как следствие:

И пошла в металлолом
Целая эпоха...
Разгулялися ветра
Вдоль по белу свету...
Родина была вчера,
А сегодня – нету...

Вывод прост – железо рано или поздно попадает в металлолом, а земля существует вечно, питая корни человечества. Железо само по себе смертоносно, если не сочетается с чем-то живым (к примеру, деревянным). В книге Дмитрия Мизгулина железо не в почете: «Был построен на песке/ замок наш железный», «Но мир, беспощадно железный...». Но с какой любовью говорится о родной земле, о деревьях! Деревья будто мелькают в окне бегущего поезда, и от них веет «живой жизнью»: «Пылится вечная дорога, шумят чуть слышно деревья», «Что ж теперь? Теперь – сажать деревья», «Дерево, посаженное мной»...

Звучит здесь и вечный русский вопрос «Что делать?». От железного века не отказаться – человеку без него уже не обойтись, но и уход от живых веществ, от живой души будет смертельным. Наверное, выход – в крестообразном соединении этих кардинальных оппозиций. В связи с этим возникает ассоциация с закладом, который Раскольников понес старухе. Находим в «Преступлении и наказании»: «Этот заклад был, впрочем, вовсе не заклад, а просто деревянная, гладко обструганная дощечка<...> Потом уже он прибавил к дощечке гладкую и тоненькую железную полоску <...> Сложив обе дощечки, из коих железная была меньше деревянной, он связал их вместе накрепко, крест-накрест, ниткой; потом аккуратно и щеголевато увертел их в чистую бумагу и обвязал тоненькою тесемочкой, тоже накрест». Не забыть бы только совсем о крестообразном знамении, о чем сетует поэт:

Гром греми!
Пора креститься.
Да забыли, как...

И все же муза Дмитрия Мизгулина оптимистична – несмотря на все невзгоды, и над сегодняшним русским небом сияют все те же Святые Небеса, о чем говорится в следующих строчках:

И пусть наши думы – о хлебе,
И в душах царит непогодь,
Но в русском блистательном небе
Живет милосердный Господь.

2014 г.

КОСМИЧЕСКИЙ ПЕТЕРБУРГ ГАЛИНЫ ИЛЮХИНОЙ

Петербург – город, плывущий в необъятных космических глубинах; загадочный, замотавший в один клубок нити разных времён и судеб. Дети-поэты, уподобляясь древнеримским паркам, плетут из этого клубка словесные узоры и клеят их, как аппликации, на угрюмые северные камни. Может быть, поэтому в каменном городе всё ещё теплится жизнь...

Петербургская поэтесса Галина Илюхина... Модель мира в ее стихах сродни космической модели в классическом античном сознании. А. Ф. Лосев так рисует образ античного космоса: «Космос, природа есть театральная сцена. А люди – актёры, которые появляются на этой сцене, играют свою роль и уходят. Откуда они приходят?... С неба, ведь люди – эманация кос-

моса, космического эфира...». В её стихах присутствует чувственно-материальный космологизм, её лирические героини с интересом вглядываются в окружающие их звёзды или же смотрят вниз, в адскую бездну с верхних точек вертикальной Вселенной, или, наоборот, – в такой желанный верх – со дна своей души, со дна реки, со дна двора-колодца:

И я, скача на ножке спичечной,
смотрю со дна густого дня
в квадратик неба сине-птичечный,
а небо смотрит на меня.

При этом автор использует и вполне традиционные элементы метаописания «странного» города и его насельников: театр, сцена, куклы, зеркало, отражение, тень, город-призрак.

Петербург Илюхиной – это мистическая Вселенная, которая то растягивается в бесконечной веренице звезд, то съеживается до пространства, в котором умещаются лишь женщина с кошкой (но об экзистенциальной теме одиночества – позже). Звёзд вообще в художественном мире поэтессы – множество. У неё это не только небесные тела, но и вполне прощупываемые вещи: номер журнала «Звезда», «звёзды на ту-журке», «звёзды иголок в душистом стогу»... Более выразительна, конечно же, сакральная символика: «Вон в доске небесной шляпки гвоздей блестят» с аллюзией на распятие, «надо мною тоже сверкают в ночи кресты» и т.д. В космической тишине, на грани жизни и смерти, всегда есть, над чем задуматься, остановившись на одном из отрезков жизненных мытарств. По всему небу стихов аккуратно расставлены звёздные многоточия...

С изменением размеров Вселенной может изменяться в размерах и человек:

Удаляясь, он становится высок.
И луна ему царапает висок, –
он идёт уже по плечи в облаках.

Или: «Солнце ночное всходит из-за плеча...». Гиперболы здесь – дело житейское. Так же, как и литоты. Петербург – город огромный, имперский, но, если посмотреть на него из космоса, с орбиты или поверхности Луны, тут же становится уязвимым, хрупким, пустым. Масштабы его вавилонски-смесительной стихии уменьшаются до размеров сценки из представления в кукольном театре. Поэтесса умело использует такой перенос точки поэтического обзора, чтобы подчеркнуть «игрушечность» человека и мира (например, в стихотворении «Питер – сумерки – зима» целый город становится маленьким стеклянным шаром, в котором идёт снег). Или показать всю крошечность, беззащитность человека, ведь с позиции античной системы координат он – всего лишь крупинка огромного космического тела. Так, в стихотворении «Птичий февраль» в процессе похорон вырытая могила разрастается до бездны, на краю которой автор с грустью наблюдает за суетным миром.

Топчемся у ямы на краю,
тупо коченея на ветру.
Спи спокойно, баюшки-баю,
отлетая в божью дыру.
А внизу – заснеженный погост,
птичьих лапок лёгкие кресты.
Все мы, если смотришь с высоты, –
семечек рассыпанная горсть.

Взгляд с высоты необходим и для обозрения своей прошлой жизни, в которой и обычный школьный завуч – пришелец с другой планеты («В учительской водится завуч – безжалостный монстр в зелёном костюме, и зуб золотой её остр...»). Поэзия Илюхиной не чужда иронии. Возможно, ирония – это средство самозащиты от враждебного холодного космоса, это попытка осторожного прощупывания чёрных дыр в иллюзорных попытках зашить их, попытка избежать падения в бездну, защититься от небытия, а иногда просто мастерски поиграть смыслами. Тем же, очевидно, объясняется и частое использование «периферийной» лексики, ироничная игра словами: «пестня», «праздней», «философичное», «желтая», «чорный» («в чорном поезде чорный профессор») и др.

По всему поэтическому миру Галины Илюхиной разбросан «космический мусор»: множество разнообразных вещей, которые заполняют собой пустоту жизненного пространства человека в большом городе. Жизнь настолько быстротечна, что они лишь пролетают мимо, запечатлеваясь в памяти, как осколки какого-нибудь метеорита: вот пролетает голосащий советский радиоприёмник «Маяк», а вслед за ним откуда-то из детства мчится комок макарон из школьного завтрака, то и дело мелькают перед глазами мамины туфли, пустая фляга, холщовая сума, окурки звёзд и даже медуза чайного гриба из восьмидесятых. Пусто и одиноко... Сама поэтесса с улыбкой рассказывает, как в журнале «Дружба народов» как-то опубликовали подборку её стихов под названием «Зверёк вселенского сиротства». Так и написа-

ли: «Галина Илюхина. Зверёк вселенского сиротства». Без тире, конечно, но звучит забавно.

При этом поэтическая реальность Галины Илюхиной неотделима от мифа. В стихотворение «Белой ночью» причудливо реинсталлирован античный претекст:

Однажды в июне, в сезон знаменитых ночей,
мы видели чудо. Был город как будто ничей —
темнел отстраненно, качал головами садов...
А в небо врывалась армада огромных китов...

Согласно ранним преданиям, Землю держали семь огромных китов, четверо из которых уплыли в бездонную даль, не выдержав ноши греховных поступков людей. Считалось, что в случае гибели оставшихся трёх китов придёт конец света. Нужно сказать, что и в петербургских мифах сильна апокалиптическая символика. Она же просматривается и в стихах Илюхиной, и, как правило, сопряжена с темой одиночества человека во всепоглощающем чреве города, одиночества перед финалом истории.

И мы онемели от жуткой такой красоты,
и стали как добрые рыбы, и были легки,
и плыли вдоль улиц након своих маяки.
И не было мертвым сие рукотворное дно —
наш город с китами небесными был заодно.
Он знал, что киты, с высоты обзрев Петербург,
вернутся под утро, свершив свой магический круг,
на вечное место — сквозь толщу земли и воды —
наш город держать на ракушечных спинах седых.

В словарях символов говорится, что кит олицетворяет силу космических вод, возобновле-

ние как космическое, так и личное, а также поглощающую могилу. Желудок кита – это одновременно место смерти и перерождения (что примечательно, наша галактика находится как раз в Комплексе сверхскоплений Рыб-Кита, называемом ещё галактической нитью). В стихотворении «Белой ночью» Земля сужается до масштабов Петербурга: киты держат «на ракушечных спинах седых» не Землю, а город Петра, вернувшись на своё «вечное место» сквозь толщу невыхских вод.

В Ветхом Завете кит – символ Ионы. Уже не из языческого мифа, а из библейского контекста киты являются в строчках стихотворения «Предзимнее»: «Ноябрь – рыба-кит, и все мы в нём ионы». Петербуржцы в ноябре действительно будто оказываются во чреве кита и лишь к весне постепенно выходят из этой временной могилы.

В условиях абсолютного фаталистического космологизма античной культуры человек проживал то, что было изначально предопределено: надевал маску и играл роль. Для современного героя маска – возможность спрятаться от враждебного мира или украсить, заполнить бытие, бессмысленное в своей процессуальности. Лирическая героиня Илюхиной не чужда ношения масок и театральной игры. Ей часто не хватает воздуха и времени, но она отчаянно продолжает танец жизни, доигрывает «песню на дудочке», хватаясь за «шагреновые дни», пока жизнь длится («Нелепое враньё, что мы умрём»), «пока живот щекочут облака, и тёплый ветер обдувает спину»... И Петербург продолжает свой жизненный путь, пока не сбылось

апокалиптическое пророчество «Петербургу
пусту быть».

Кашляет город в красной закатной пыли,
мусорным шорохом кружит пустые арки.
Нитки запутали, скомкали, в петли свили
пьяными пальцами наши слепые парки.

Галина Илюхина – художник с космическим
сверхвидением, без усталости рисующий в камен-
ной тьме узкие тропинки света («болотный
свет» в «Ореховой сонне», полёт на «ближний
свет сквозь солнца волокно» в стихотворении
«По праву винодела», «свет из оранжевой
спальни», который «из ближнего делался даль-
ним», «свет в ненастоящей хвое», «ломкий ли-
монный свет» на кладбище и т.д.). Эти свето-
вые дорожки материальны, как и всё изобре-
тенное. И в каждой ночи совершается воздая-
ние добруму и злему: ненастоящих персонажей
«главные бутафоры», хороня, и снегом посы-
пают ненастоящим, а по узкой светлой тропин-
ке из холодного космоса Петербурга выводятся
робкие некукольные души в сопровождении
маленьких майоликовых ангелов...

Интересно, смогли бы Атланты поднять по-
выше картинную рамку Земли? Нет, не смог-
ли бы, ещё Аристотель в своём трактате «О
небе» в них засомневался. А вот слову под-
властно всё...

2015 г.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПОЭЗИИ АЛЕКСЕЯ АХМАТОВА

Споры о традиционной и «новой» поэзии давно уже вышли на уровень вселенской борьбы добра со злом. В современном мире любят отрицать всё традиционное: силлаботоническое стихосложение, семью в её исконно русском понимании, мораль и, в том числе, любовь к своему отечеству. Поэтов, берущих на себя подвиг обращения к проблемам социума вместо плетения высокоинтеллектуальных словес о себе любимом, и вовсе считают динозаврами. Один из таких «динозавров», способный поэтически работать с любовью не только к ближнему, но и к целому обществу, – талантливый петербургский поэт Алексей Ахматов. Своим «нетрадиционным» оппонентам он остроумно и правдиво отвечает:

...Но мне знакома сила слов
Вне всякой моды,
Когда строка поверх голов
В народ уходит.

Я гласных звуков стебли гнул,
Мял шелк согласных!
Так что мне недовольных гул
И несогласных?

Градус социально-политической проблематики в его поэзии постепенно повышается на протяжении всей творческой эволюции. В сборниках «Солнечное сплетение», «Камушки во рту» она ещё не имеет той остроты, которую обретёт

в более позднем творчестве, лишь постепенно вырастает из маленьких зарисовок до выступлений в полный голос.

Можно считать программным следующее стихотворение поэта, в котором он вступает в воображаемый диалог с Анной Ахматовой:

Мои стихи из сора не растут.
Они растут, скорее, из позора,
Из воспаленной совести. Измором
Они меня, как правило, берут.

Что одуванчик или лебеда?!
Для хищных строчек нету лучше яства,
Чем на душе измучившейся язва,
Чем сердце сокрушившая беда.

Это стихотворение в две строфы, пожалуй, является ключевым для его социальной поэзии. Метафора язвы указывает на духовную способность автора воспринимать повреждения на теле общества как свои собственные, болеть вместе со всем русским народом.

Основа для резкой социальной критики в поэзии Алексея Ахматова содержится в ощущении тотальной потери этики в обществе потребления. Мораль в этом мире утратила свой онтологический дух и статус, а общество без морали в перспективе нежизнеспособно. И снова звучит гоголевский «смех сквозь слёзы» («У рекламы кока-колы»):

Что нынче говорят про книжки?
Что, глядя в книгу, видишь шиш.
Советуют: найди под крышкой
Поездку на футбол в Париж...

Из бытовой зарисовки в этом стихотворении осуществляется переход к идеологеме «Москва – третий Рим» как историческое напоминание о том, что первые два «Рима» пали по той же причине духовного обнищания народа. Это стихотворение-предупреждение, штрих к возможной истории из будущего о том, «как золотой телец разрушил наш третий и последний Рим».

Красной нитью по творчеству Ахматова проходят такие социально-политические мифологемы (именно мифологемы, а не архетипы, так как для его творчества особенно важна этноспецифичность), как свобода, справедливость, равноправие, солидарность, братство и т.п. Их поэтическая реализация всегда оригинальна. Авторская выразительность преодолевает ограниченность документального свидетельства-репортажа. Литературный критик Евгений Антипов отмечает: «При всей своей традиционности, стихи его [Ахматова] непредсказуемы». Непредсказуемы и в то же время отшлифованы, словно камушки после обработки морских волн. Эрудированность и художественное мастерство поэта впечатляют.

По историческому признаку можно выделить в его поэтике два класса мифологем: современные и мифологемы советского общества, к которому писатель относится с гораздо большей симпатией. Обнажая несправедливость общественного устройства, поэт с горечью затрагивает тему культа «трудящегося человека», ограниченного и в советском прошлом, и в современном мире:

..Когда же под вечер в родную обитель
Вернутся козявки, то им предводитель

Расскажет, расправив антенны усов,
Как труд из личинок создал муравьёв!

«Достаётся» и народу от поэта, который упрекает трудовой люд в животном бессловесье, в социальной амёбности:

Дал течь аквариум, но жители его
Ещё о том не знали ничего,

А если даже знали, то молчали,
Как это рыбам свойственно...

В рамках темы социального неравенства в творчестве Ахматова осуществляется деструкция социального мифа о богатстве-заслуге, богатстве-харизме. Поэт напоминает, за счёт чего, вернее, за счёт кого это богатство и благолепие достигается. Капитализм всепожирающ:

Приятно жить здесь, по утрам свистя.
Но я напомним — этот рай бетонный
И каждый дом построен на костях
Лягушек меднокожих и тритонов...

Ахматов придерживается коммунистической политической ориентации, идеи которой во многом близки к христианским. При этом избегает таких крайностей, как «вождизм», «урапатриотизм», «избранность народа». Его любовь к России абсолютна. Критика её социального неблагополучия не сопровождается посыпанием солью «ран Отчизны», чем грешат многие современные либералы («Ленивый лишь не бережит её незажившие раны»). Вполне справедливо его причинно-следственное заключение:

Они живут в стране, страной
Питаясь, словно черви в груше,
Но ненависть им сушит души
К плоду, что жрут они гурьбой.

Про грязь и гниль наперебой
Твердят, пока их не раскрыли.
А может, все причины гнили
В их деятельности гнилой?!

По мнению автора, капиталистическое общество уродливо. Как чудовище из пасти, оно непрерывно исторгает из себя всё человеческое: совершает самоубийство ветеран, бравший Берлин, архангельский мужик становится бомжом, да и всё народное тело безжалостно давится огромной ногой машины, как «меднокожая лягушка». Лягушек и тритонов не жалко...

Но если социум не способен уравнивать людей, то их в любом случае сравнивает сама природа — человек рано или поздно умирает. В одном из стихотворений Алексей Дмитриевич пишет о смерти двух антигероев. Оно начинается так:

В каталажке архангельской бомж
Спал и видел коттедж на Рублёвке,
А в Москве одному из вельмож
Сон явился, что он в уголовке...

В финале оба они умирают, и тут уж неважны их бедность или богатство.

Алексей Ахматов не оставлял социально-политическую проблематику и в сложный переходный период 90-х годов, когда отношение общества к этой тематике в поэзии и прозе было особенно напряжено в связи с так называемой идиосинкразией. Всем надоело и писание по партийному заказу, и идеологическая, а не эстетическая борьба с властью антисоветских

писателей. Царило ощущение исчерпанности данной темы. Ощущение, конечно же, ошибочное. Алексей Ахматов не оставлял слова и в это тяжёлое время:

Я на краю больной эпохи
Не перестал писать стихи.

В поэтике Ахматова переплетаются мифы и антимифы о русском народе. С одной стороны, творец выступает в качестве странника, ищущего правды и реалий для подтверждения мифа о народной воле, с другой – разочарован в бездуховности, обращается к контр-мифу о деградации народа. Любит своих соотечественников, но в то же время ни в коем случае не идеализирует их, вскрывает такие болезни русского человека, как лень, амёбность, варварство, пьянство. Но даже в болезнях образ человека из народа ему симпатичен. Поэт и сам не чужд лёгкой народной анакреонтичности. Гораздо важнее для него при воссоздании образа Родины архетипическая пралогика оппозиции «я-мы» в плане организации дальнейшей исторической участи России: пойдёт ли она по эгоистическому пути индивидуализма или всё-таки вернётся к своей исконной соборности.

Поэт в принципе не может быть существом теплохладным, и Алексей Ахматов – не исключение. О горячей любви к своему народу он пишет по-пушкински просто:

Я ж, лампе старой подражая,
Свет этот в строчки обращаю,
Иной нужды в горенье нет...

Важнейшая тема затрагивается в стихотворении «К вопросу о защите русского языка». Уже сколько раз твердили нашему народу о том, что

русский язык – величайшее национальное достояние, а воз и ныне там. Очередному поколению поэтов приходится в очередной раз напоминать о его многострадальности и необходимости защиты от нас самих:

Да, в древности знавали власть
Реченных слов, а наши чада
Латиницей марают всласть
Лифты, подъезды и фасады...

Это разговор, конечно же, не только о языке, но и о девальвации духовных ценностей в целом. В. Кюхельбекер как-то сказал: «История русского языка раскроет характер народа, говорящего на нём». Хотелось бы верить, что озвучивание возможной неблагоприятной перспективы развития общества хотя бы в некоторой мере нейтрализует эффект от её (страшно допустить!) реализации. А горькая правда, по Алексею Ахматову, такова:

..Вот почему мы все в долгах,
Вот почему больны, недобры.
«Мы погибоша, аки обры»,
В чужих растаяв языках.

Идеальное государство – утопия, и надежды на интенсивное размножение Гражданина с большой буквы в современном обществе мало, но она есть. Большое поэтическое сердце Алексея Ахматова всё ещё хранит в себе пушкинскую веру в приход «желанной поры» социальной сознательности и справедливости. И, несмотря на то, что по его же словам, «гражданский стих – чудовище, урод в семье российско-го стихосложения», всё ещё верит в общественную весомость поэтического слова.

2015 г.

ИНТЕРВЬЮ

РОДОВАЯ ПАМЯТЬ

(интервью с Дмитрием Достоевским)

Дмитрий Андреевич Достоевский – правнук великого русского писателя. Родился в победном 1945 году в Ленинграде. Человек с уникальным жизненным опытом, успешно освоивший 21 профессию. В настоящее время – пенсионер. Живёт в Санкт-Петербурге

– Дмитрий Андреевич, у Вас крепкая православная семья, три внуки и маленький пятилетний внук. Практикуете ли Вы в своей семье домашнее чтение вслух?

– У нас в семье практикуется обязательное родительское вечернее чтение, пока дети сами не научатся читать и писать. Читались разные детские книжки, в том числе сборник для детского чтения Фёдора Михайловича Достоевского. Теперь сами сёстры в очередь читают Феде, хотя он и сам немножко читает и пишет. У меня накопилась достаточно большая библиотека хороших книг, которая теперь в их распоряжении.

– Я знаю, что Ваши внуки - личности очень увлечённые; рисуют, например, иллюстрации к рассказам своего прапрапрадеда. Не поделитесь небольшим рассказом об их талантах?

– Надо сразу сказать: подчас забывают, что мы наследуем две линии – папину и мамину. По женской линии прапрапрабабушка Екатери-

на Раевская была в своё время известной певицей и пела несколько сезонов в Ла-Скала, а затем преподавала в петербургской консерватории. Была знакома с Чайковским и Рубинштейном, которые восторженно о ней отзывались. Думаю, что она откликнулась в моих внучках – все трое учатся в музыкальной школе и играют на разных инструментах (флейта, домра и виолончель), к тому же поют в консерваторском детском хоре. От Достоевских, включая писателя, они наследуют умение рисовать.

– Ваш внук Феденька, Фёдор Достоевский, как-то проявил себя творчески? Уже в его возрасте родные в шутку любят определять, кем вырастет ребёнок. Может быть, были какие-то знаки?

– О Феде рано ещё что-либо говорить, он ещё маленький.

– В прошлом году Вы собирали средства на издание книги «Достоевский – детям», которая отличается от уже существующих подобных изданий оригинальностью, – в ней собраны отрывки из произведений, которые сам писатель предназначал для детей. Удалось ли реализовать этот проект?

– Проект тогда провалился (не собрал достаточно денег), но надежду не потерял. По-прежнему ищем спонсоров.

– Вы много путешествовали и встречались со многими "людьми" Достоевского. Что Вас

особенно впечатляет в почитателях творчества Вашего прадеда?

– Расскажу маленькую историю, которая произошла во время съёмок французских документалистов у дома Раскольников в начале 90-х годов. В перерыве режиссер подошел ко мне с вопросом: "Можно ли сейчас на улице встретить Родиона Раскольникова?". Я предложил ему сходить на Сенную площадь и посмотреть. Вернувшись, он сказал, что ему показалось, что "каждый третий похож на Раскольникова". Это о героях писателя; что касается читателей, то я с удовольствием отмечаю – интерес к его творчеству не только сохраняется, но теперь молодёжь приходит к нему раньше и воспринимает его как учителя жизни.

– А доводилось ли встречать таких читателей, которых Ф.М.Д. привёл к вере?

– Я встречал немало людей разных конфессий, которые говорили мне, что к вере их привёл Достоевский. В том числе четырёх священников, которые перешли в православие благодаря его произведениям (это за границей).

– Я помню, что Вы искали людей в Сан-Франциско, которые могли бы разыскать в архивах Голливуда сценарий Вашей бабушки Екатерины Петровны Достоевской о Фёдоре Михайловиче, основанный на беседах с женой писателя Анной Григорьевной. Удалось найти этот сценарий?

– Сценарий пока под спудом, так и не нашёл людей, вхожих в архив Голливуда.

– В прошлом году планировалась съёмка нового художественного фильма об Анне Григорьевне Достоевской, был написан сценарий. Нашёлся ли спонсор для этого фильма?

– Автор сценария Анна Кумачёва говорила мне, что сценарий был принят художественной комиссией на двух телеканалах, но в первом случае был заменён в плане каким-то сериалом со стрельбой (зритель лучше хакает), а в другом – замещён сценарием Володарского "Достоевский" (на мой взгляд, совершенно бездарным). В Интернете можно найти мой отклик под названием "Похождения господина Д. по бабам". Сценарий ещё нерождённого фильма у меня есть, права мне делегировала Анна.

– Дмитрий Андреевич, у Вас увлекательная жизнь, прекрасная семья, а чего бы Вам хотелось больше всего?

– Главное, мне хочется, чтобы мои внуки выросли гармоничными личностями, достойными своего великого предка.

2015 г.

ПОМНЯЩИЙ РОДСТВО

(интервью с Борисом Орловым)

Борис Александрович Орлов – председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России. Родился в 1955 г. в Ярославской области. Окончил Ленинградское высшее военноморское инженерное училище имени Ф.Э. Дзержинского (1977), Московский литературный институт имени М. Горького (1985). Служил на Северном флоте на атомной подводной лодке (1977-83). Руководит ЛИТО «Путь на моря» им. Всеволода Азарова. Капитан 1-го ранга. Главный редактор газеты «Литературный Петербург», член Санкт-Петербургского союза журналистов, Православного общества Санкт-Петербургских писателей, Академик Петровской академии наук и искусств. Лауреат литературных премий «Золотой кортик» (1994), им. К. М. Симонова (1998), им. В. С. Пикуля (1999) и др. Живёт в Кронштадте.

– Борис Александрович, Вашу первую книгу «Гранитный Север» выпустил Воениздат. Вы пишете о войне, получили литературную премию имени Константина Симонова, но можно ли военную тематику считать доминирующей в Вашем творчестве?

– У меня нет понятия «доминирующая». Доминирующая – это жизнь, мир, который меня окружает, мои философские взгляды. Служба мне показала, что такое ответственность за судьбы государства и за судьбы мира. Когда в таком относительно молодом возрасте прикасаешься к чему-то глобальному, высокому, начи-

наешь смотреть на мир уже по-другому. И какие-то мелкие житейские моменты кажутся не столь важными.

Спасибо, что напомнили о моей первой книге. Помнится, я её сдал в издательство в 22 года, а вышла она через пять лет. Выход книги — это было большое событие... (Кстати, премия Симонова — не первая для меня; вначале была премия мурманского комсомола им. Александра Подстаницкого — молодого воина, погибшего на северных рубежах. Ее мне присудили 32 года тому назад). Когда вышел мой «Гранитный Север», то получил довольно много отзывов: в «Новом мире», в «Неве», в ряде московских журналов... Станислав Золотцев даже назвал меня одним из самых лучших молодых авторов. Я вошёл в литературу с теми, кто меня был лет на десять старше. Ездил всюду с писателями-фронтовиками. У меня всегда складывались прекрасные взаимоотношения с теми, кто прошёл испытания. Прошёл войну.

— Можете назвать любимых писателей-фронтовиков?

— Конечно! Михаил Дудин, который рекомендовал меня в Союз писателей, мой однофамилец Сергей Орлов, Сергей Давыдов (самые тёплые отношения у меня с ним были), Вадим Шефнер, Всеволод Азаров... Многих ещё можно назвать в том числе и из тех, кто сейчас незаслуженно забыт. Не хотят их вспоминать. Наверное, просто некогда или лень, я не знаю. Молодёжь до такой степени замотана... Понятно, конечно, ведь сейчас литературный труд не даёт ни денег, ни уважения...

– Вы часто общаетесь с молодыми авторами. Многие из них обращаются сейчас к гражданской лирике?

– Владимир Путин назвал развал Советского Союза катастрофой. Это действительно катастрофа, когда идеология, чётко направленное движение вперёд, отменяются. Начался хаос. Люди разбежались по национальным квартирам, по каким-то социальным группам. Молодёжь потеряло твердые ориентиры. Ушло государство, которое поддерживало литературу. Состоять в Союзе писателей СССР было до такой степени престижно! Член Союза писателей был равен доктору наук и по степени уважения, и по льготам. И уровень мастерства был довольно высоким, а сейчас все считают себя писателями, а уровень... сами знаете... Помню, что от Ленинграда в год принимали всего пять-шесть человек в Союз писателей СССР.

Есть, конечно, молодёжь, которая обращается к гражданской лирике. Но этот жанр доступен, когда молодой человек дорастает до масштабов хотя бы понимания истории своей страны, до масштабов понимания того, что происходит в мире. У нас сейчас, к сожалению, принято поклоняться Америке, а не любить свое отечество. У меня есть материал «Осмотреться в отсеках» (он даже в «Вестнике Совета Федерации», №5, 2015 г.), где я цитирую Бродского. Он в мае 1992-го (практически полгода не прошло после распада СССР) говорит, что сейчас существует паритет, равенство между изящной словесностью российской и США. Если даже

Бродский так считал, находясь в Америке, значит, наша поэзия была значительно выше.

Для того, чтобы что-то говорить через поэзию, у человека это что-то должно быть за душой. А бывают ребята, которые филологические стихи пишут: вроде всё грамотно, но внутри – пустота, нет души... Я им постоянно говорю, что поэзия стоит на втором месте после молитвы. А богохульство – от дьявола. У нас очень много чернухи.

– Борис Александрович, можете прокомментировать изменения в литературе в постсоветское время?

– Горбачев в своё время обратился к редакторам газет с просьбой уйти в оппозицию, спорить с властью якобы для того, чтобы страна шла вперёд. Ещё Геннадий Григорьев писал: «Дядя Миша перестраивал сарай...». Мы и пустились во все тяжкие: начали ругать то, что создавали, ломать всё подряд, но не подумали хотя бы шалаш построить, где можно будет жить. В результате оказались бездомными. Напрочь всех забыли... Того же Гену Григорьева, Олега Осипова. Сейчас же пишут все, кому не лень, – о бытовых мелочах, о ерунде... Есть, конечно, писатели, которые остались на традициях русской литературы. Если прозападные писатели описывают быт, наши – бытие. Для западников важно что-то мелкое, сиюминутное, нет понимания своего предназначения. Для чего человек пришёл в этот мир? Что вам нужно совершить в этой жизни? У них нет ответов на эти вопросы. Когда же человек начинает соотносить свою жизнь с вечностью, ему легче жить, он руководствуется заповедями Божьими, дышит легче.

– Можно ли полюбопытствовать, что конкретно Ваши детство, юность привнесли в понимание и чувство «Русского мира»?

– У меня с детства остались самые яркие, самые тёплые впечатления от русских традиций, обычаев, быта... Я родился и вырос в деревне Живетьево. Оголтело-идеологического восприятия мира, кстати, не было. Может быть, именно в наших краях не было таких перегибов. Помню, как меня избрали секретарём комсомольской организации в 9-м классе, как мы приехали собирать картошку в колхозе, а там ни вёдер не было, ни о сменной одежды не предупредили – я и увёл наш класс с поля. Беседовали потом со мной, конечно. Но всё это было лояльно, доброжелательно.

С детства помню песни «На сопках Манчжурии», посвящённую русско-японской войне, «Гибель Варяга»... Помню, как в наш большой дом съезжались гости, когда мне было пять лет, на православный праздник Воздвижения Креста Господня. Друзья отца – фронтовики, а им ещё сорока лет не было. Я впервые услышал от них песни на стихи Есенина «Вечер чёрные брови насупил», стихи из «Персидских мотивов»... А потом приехал родной брат моей бабушки – участник Первой мировой войны, со своими друзьями. Они затянули русскую народную, очень похожую на казацкую, на три голоса: «Ой, да за горой, да за крутой»... А ещё пели песни на стихи Некрасова, «Коробушку», романсы. Два поколения в одном доме, и такие разные песни! Мы сами не пели Есенина. Ещё не всё понимали.

Общество, конечно, меняется. К сожалению, не всегда к лучшему. Однако приятно, что стихи

живут хотя бы в песнях. Недавно вот узнал, что в московских ресторанах поют песни и на мои стихи. Вот на это, например: «Давай попьём чайку с вареньем, поговорим о том, о сём...».

– Скажите, а есть ли у Вас стихи о войне в Донбассе?

– Непосредственно о войне в Донбассе нет, но у меня есть стихи, посвящённые майдану. Там есть такие строчки: «Сбили Боинг – как будто Рейхстаг подожгли, и коричневой стала планета», о наступлении фашизма.

Моя задача в силу возраста – оценить то, что там происходит с философской точки зрения, на глобальном уровне. Донбасс – это большая трагедия, передел договоров, которые были заключены после Второй мировой войны. Пересмотр их начался ещё с Афганистана. Сейчас США пытается быть мировым жандармом, утвердиться, к примеру, в Средней Азии. И Россия – единственная держава, которая пытается сделать мир многополюсным, а не однополюсным, как хотят Соединённые Штаты. И об этом нужно писать.

Мы дважды в петербургском Доме писателя принимали донбасских писателей. Когда человек страдает, то эти глубокие переживания приводят к искренним лирическим гражданским стихам. В Донбассе сейчас пишется очень много хорошей гражданской лирики.

А у нас, к сожалению, работает «тусовочная психология». «Тусовочные» поэты «гениальны» в своём узком кругу. Забывают о советских литературных эталонах, о поэтах Серебряного века, Золотого пушкинского века. У нас просто

мало любопытства к тому, что было до нас и в истории, и в литературе, и в поэзии. Потому я и руковожу организацией, чтобы объединить талантливых творческих людей.

При этом, мы, по существу, оказались вне закона (у нас сейчас нет закона о творческих союзах), и вынуждены просто выживать. Гонимых или вообще нет или они ничтожны, писатели экономят даже на проезде. Но мы стремимся к тому, чтобы психология тусовочная ушла, чтобы было единое пространство, ведь писатели – это срез целого общества.

– Чего, на Ваш взгляд, не хватает современному поэту?

– Не хватает того признания, которое было в Советском Союзе. Даже частную «Литературную газету» читает теперь очень небольшое количество людей. Не хватает оценки труда. Всё, конечно, нужно делать вовремя. Первая моя публикация была в школьные годы. Меня, безо всяких «связей», печатали всесоюзные издания. Не то, что сейчас! Я просто посылал подборки, и они публиковались. Я послал рукопись своей книги в Воениздат, и на меня они сами вышли. А как я попал на VII Всесоюзное совещание писателей! Я приехал в Учебный центр в город Обнинск, зашёл в издательство «Молодая гвардия» с подборкой стихов. Они попросили меня оставить координаты и тут же рекомендовали на VII Всесоюзное совещание. Я попал в семинар к Егору Исаеву. У нас были самые тёплые взаимоотношения до конца его дней. Он тогда написал в Главный штаб Военно-морского флота, и мне дали разрешение на отпуск для сдачи экзаменов в Литин-

ститут. Это была большая редкость. Кроме себя, из офицеров-подводников-атомщиков я не знаю никого, кто бы окончил Литинститут. Даже когда мы уходили в море, а потом приходили на базы в другие города, то где бы мы ни были, я шёл на почту и отправлял свои курсовые работы. Мне все шли навстречу: и командир у меня был прекрасный – Юрий Константинович Шамшур – боевой офицер, был командиром дизельной подводной лодки, командиром нашей ядерной подводной лодки, ко мне с симпатией относился.

У меня всегда шли параллельно и поэзия, и служба. Даже когда была Англо-Аргентинская война, и мы там боевую службу несли недалеко от берегов, но, естественно, в нейтральных водах. Советский Союз тогда был сдерживающим фактором.

Я всегда считал себя человеком стойким. И в жизни плакал два раза: когда видел, как армия расстреливает собственный парламент в 93-м году, и когда бомбили Югославию.

Мне очень близок Некрасов, который сказал: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

– Занимаетесь ли Вы патриотическим воспитанием в школах?

– Да, и в Военно-морских училищах тоже. Писатели нашего Союза посещают и детей-инвалидов. Несмотря на всю эту административную работу, иду туда, куда меня пригласят. Я всегда рассказываю о своём пути, вспоминаю своих предков, читаю стихи. Очень важно, чтобы мы не были Иванами, не помнящими родства...

2015 г.

У ТАВРИЧЕСКОГО САДА

(интервью с Александром Кушнером)

Есть в Петербурге районы, которые кажутся мне каруселями. Ты непременно должен сделать несколько кругов, проплывая мимо стайки домов или очередного сада – Юсуповского, Никольского, Троицкого, Смоленского... Сколько их?... Сегодня меня закружил Таврический сад. Странно: я просто сидела на скамейке и читала стихи Александра Кушнера, а сад кружил меня вокруг застывшего в белом облаке Сергея Есенина. А рядом на лошадках и осликах катались, уже прозрачные, поэты Серебряного века... Через этот сад когда-то проходили к Вячеславу Иванову, в его знаменитую башню, Александр Блок, Анна Ахматова, Николай Гумилёв. У Александра Семёновича есть замечательные строчки по этому поводу:

Распушились листочки весенние,
Словно по Достоевскому, клейки.
Пусть один из вас сердцебиение
Переждет на садовой скамейке.
<...>

Знаю, знаю, куда вы торопитесь,
По какой заготовке домашней,
Соответственно списку и описи
Сладкопевца, глядящего с башни.

Мизантропы, провидцы, причудники,
Предсказавшие ночь мировую,
Увязался б за вами, да в спутники
Вам себя предложить не рискую...

А потом...потом мне открыла дверь муза Поэта (нужно ли говорить о полученной в 2005-м премии «Поэт»?) – прекрасная, светлая, какой и подобает быть Музе. Ещё помню тапочки, обувать которые казалось излишней тратой времени, книжные полки, диван в кабинете, а напротив – светлый и внимательный взгляд настоящего Поэта.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы не раз встречались с Анной Ахматовой. Скажите, что Вас больше всего поражало в её облике?

А.К. Поражала, наверное, величественность, важность, многозначительность. Конечно, в ней был виден человек Серебряного века – с её царственными жестами, с её интонацией, голосом... Как выясняется из мемуаров, всё это было свойственно Ахматовой и в молодости тоже. И в то же время, должен признаться, что эта её величавость была несколько театральной, и меня при редких встречах, пожалуй, подавляла. Наверное, поэтому я был у неё всего четыре или пять раз. Ну, и отнимать у неё драгоценное время мне тоже было неловко.

Н.Р. Показывали Ахматовой свои стихи?

А.К. Да, показывал. Она их одобрила и в первый, и во второй раз, и в третий, но, безусловно, предпочитала Бродского. Поздняя Ахматова, на мой взгляд, ориентировалась, как ни странно, уже не на акмеизм, не на предметность и конкретность, а на символизм с его несколько расплывчатым и высокопарным словом. Считалось в десятиные годы, что она его

«преодолела», но к старости она к нему неожиданно приблизилась, как сказал бы Баратынский, «под веяньем возвратных сновидений». Её в это время волновали «величие замысла», крупномасштабные поэтические построения, поэмы с их большим развёрнутым сюжетом.

Н.Р. Ахматова сдержанные оценки давала стихам молодых поэтов?

А.К. Ей вообще была свойственна сдержанная манера, и мне это нравилось. По поводу моих стихов, услышав их впервые, сказала: «Очень хорошо. У Вас поэтическое воображение». И всё (смеётся). Впрочем, Лидия Гинзбург, прекрасный филолог и писатель, приведшая меня к ней, объяснила, что Ахматова ей жаловалась: когда приходят молодые поэты, она себя нередко чувствует врачом, вынужденным говорить: рак, рак, рак. «Спасибо, — подумал я, — что не это». Потом Ахматова похвалила как-то мои стихи и Лидии Корнеевне Чуковской: об этом есть запись в её воспоминаниях. Но я не преувеличиваю интерес Ахматовой ко мне: к ней тогда приходили Бродский, Найман, Бобышев, Рейн, и ей было не до меня. Ну, и вообще от человека её возраста трудно ждать восторгов. Эти восторги совершенно ни к чему.

Н.Р. А Вы тоже даёте сдержанные оценки стихам молодых?

А.К. Нет, не сдержанные. Я бы так не сказал. Когда мне очень нравятся стихи, я, наоборот, горячусь и стараюсь всячески приободрить человека, но это редко бывает, к сожалению.

Н.Р. Вы бы смогли бросить вызов власти и написать нечто наподобие ахматовскому «Реквиему»?

А.К. Видите ли, «Реквием» был написан совсем в иное время и по другому, действительно страшному, поводу. Я знал о трагической судьбе Ахматовой, и «Реквием» свой (по её словам – «14 молитв») она мне дала прочесть во время одной из наших встреч. И, конечно же, я прекрасно знал о судьбе Мандельштама, Цветаевой... А печальная и страшная трагедия Пастернака в связи с «Доктором Живаго» разворачивалась на наших глазах. Наше поколение куда счастливей. Что касается стихов, не подходящих для печати, их было немало, – они лежали в столе, и я не особенно горевал по этому поводу. А когда пробовал всё-таки их пристроить в журнал, случались неприятности, как, например, со стихотворением «Аполлон в снегу», когда на меня обрушился Ленинградский обком в лице товарища Романова. И не только это. Можно вспомнить, например, грозную статью в газете «Правда» накануне перестройки – о моих стихах.

И всё-таки антисоветские, прямые и непримиримые стихи меня не слишком привлекали: я не люблю в стихах публицистики. И так называемая гражданственность мне ни к чему: я думаю, что отношение поэта к власти, к существующему строю, режиму, вообще к тирании можно почувствовать, понять по любым его стихам, даже по его «пейзажной» или «любовной» лирике. Допустим, читая стихи Пастернака, хотя бы его книгу «Сестра моя – жизнь» или

стихи Кузмина из «Форели», понимаешь, как прекрасны эти поэты, и как им должна быть отвратительна самодовольная, ничем не ограниченная власть.

Н.Р. Александр Семёнович, у Вас есть стихотворение, которое начинается словами: «Не люблю французов с их прижимистостью и эгоизмом...». Дальше идёт признание в нелюбви к арабам, евреям, англичанам, немцам, итальянцам, русским, испанцам, северным и южным народностям и прочим. Последние строчки более чем остроумны: «Фет на вопрос, к какому бы он хотел принадлежать народу, Отвечал: ни к какому. Любил природу». Не было ли претензий со стороны читателей?

А.К. Понимаете, всё-таки читатель, во всяком случае, мой читатель, понимает, что это не издевательство над национальностями, что это смешные стихи. Я очень люблю юмор в стихах. Но есть в стихотворении и вполне серьёзная мысль о том, что человека нужно судить не по его национальности, не по крови, а по тому, что он собой представляет. Важен конкретный человек, и Бог, если он есть, обращается не сразу ко всем, а к каждому из нас отдельно, меньше всего думая о «душе народа».

Н.Р. Вас называют «самым петербургским» поэтом второй половины XX века. Вы могли бы назвать пять эпитетов, которые ярче всего характеризуют Ваш родной город?

А.К. (смеётся). За меня это сделали и Пушкин, и Мандельштам. «Люблю твой строгий,

стройный вид», – вот Вам уже два эпитета, да? Помните у Мандельштама: «Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый»? Вот Вам уже шесть эпитетов.

Н.Р. Какие места в Петербурге для Вас особенно значимы?

А.К. Я люблю весь город, даже его новые окраины, потому что небо над ними всё то же. Как там, у Блока: «Петроградское небо мутилось дождём»? Я люблю не только его парадную сторону, хотя очень люблю Неву, Мойку, есть у меня и стихи: «Пойдём же вдоль Мойки, вдоль Мойки...» или «На петербургских старинных гравюрах...», например. Но люблю и рабочие его кварталы, те, которые нравились, между прочим, Блоку. Вот эти краснокирпичные фабрики, напоминающие Англию, – Бирмингем или Манчестер. Люблю также петербургские малоизвестные места. Вот у меня есть стихотворение «Сон», ещё 60-х годов:

Я ли свой не знаю город?
Дождь пошел. Я поднял ворот.
Сел в трамвай полупустой.
От дороги Турухтанной
По Кронштадтской... вид туманный.
Стачек, Трефолева... стой!

Как по плоскости наклонной,
Мимо темной Оборонной.
Все смешалось... не понять...
Вдруг трамвай свернул куда-то,
Мост, канал, большого сада
Темень, мост, канал опять...

И так далее. Там мой трамвай, как шарик в детском лабиринте, кружится по этим питерским закоулкам. Петербург – это большой мир, а не просто город, даже что-то подобное Вселенной. Впрочем, все эти имперские или просто большие города, как Париж, Лондон, Рим, обладают таким свойством.

Н.Р. А храмы любимые у Вас есть?

А.К. Казанский собор я люблю больше других. Мне очень нравится, что Воронихин явно отталкивался от собора Святого Петра в Риме, но наш Казанский тем прелестен, что он не подавляет своей огромностью, а так пропорционально сложен. И еще, конечно, Смольный собор Растрелли, сине-белый, барочный, похожий на морской прибой.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы очень много путешествуете. Вам симпатичен образ поэта-скитальца, поэта-странника?

А.К. (смеётся). Нет, я себя не причисляю к ним никак. Это Байрон, это Китс, это Шелли так возлюбили скитания, путешествия. Ну, и потом наш Батюшков, безусловно. А я не скитаюсь по свету, а езжу, навёрстываю упущенное, потому что в советское время меня никуда не выпускали. Есть потребность в том, чтобы глаза получали какую-то новую пищу и радость в связи с этим. Один из любимейших городов, конечно, Венеция. Я там был семь раз, и всё время удивляюсь своему счастью.

Н.Р. Скажите, а есть ли отличия Петербурга Достоевского от Петербурга Кушнера?

А.К. Безусловно... Достоевский – не мой любимый писатель. Я предпочитаю Пушкина и Блока. Но город Достоевского, город Некрасова существует, конечно. И я его знаю, и он необходим Петербургу. Вот – из стихов о Некрасове:

Слово "нервный" сравнительно поздно
Появилось у нас в словаре
У некрасовской музыки нервной
В петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
В его жёлчном трёхсложнике шла,
Разночинная пылкая ссора
И в любви его темой была.
Крупный счёт от модистки, и слёзы,
И больной, истерический смех.
Исторически эти нервозы
Объясняются болью за всех...

Или ещё – о старых петербургских гравюрах:

..Мойка, Фонтанка, Мильонная, Невский...
Улиц, где мог бы гулять Достоевский,
Нет. Значит, может не быть
Этих горячечных снов, преступлений?
Или, как дом, запланирован гений:
Строить здесь будут и рыть.

И этот Петербург тоже не выходит из поля моего зрения.

Н.Р. Можете сказать пару слов о Вашем отношении к французской поэзии? Недавно в Швейцарии я спросила о ней у одного интересного человека из французской части страны. Он отозвался очень сухо, назвал её рационалистической и не могущей вызывать восторженные чувства. Разделяете такое мнение?

А.К. Я понимаю Вашего собеседника, есть резон в том, что он сказал. И всё-таки это не вполне верно. Ну, какой же Верлен рационалист? Ничего подобного. Другое дело – французская поэзия более позднего времени. Или вспомним нашего Гумилёва: он отталкивался от Теофиля Готье и был рационален, стихи писал, словно по линейке. Но не все французы таковы. А Малларме какой сложный поэт, почти непереводаемый!

Н.Р. У Вас есть из зарубежных поэтов особенно любимые?

А.К. Да, англичанин Филип Ларкин.

Н.Р. Которого Вы переводили.

А.К. Когда я его переводил, мне казалось, что он какой-то мой (странно сказать) двоюродный брат. Он очень точен, предметен, оригинален и не высокомерен, а снисходителен, прост и внимателен к чужой жизни.

Н.Р. А кто был Вашим любимым поэтом в детстве?

А.К. В школьном детстве Пушкин и Лермонтов, разумеется. Но и Гомера мне читал отец – в переводах Жуковского и Гнедича. А в раннем детстве – Корней Чуковский, Самуил Маршак.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы были почётным гостем на фестивале «Литературная Вена – 2011». Поделитесь впечатлениями?

А.К. Там было выступление перед университетской аудиторией, задавались вопросы... Вместе со мной там были Олег Чухонцев, Сергей Чупринин в качестве критика. Хорошая компания, и выступать было приятно, тем более что поначалу нас привели в один из университетских корпусов и показали маленькую, тесную комнатку, которая служила кабинетом молодому Фрейду. Это клетушка с одним окном, из которого открывался вид на какое-то круглое, страшноватое здание с бойницами окон. Что-то ван-гоговское померещилось в нём. Так и есть. Оказалось, что это бывший сумасшедший дом. И тогда начинаешь понимать, что Фрейд не так плох, как об этом говорил Набоков, что он действительно старался облегчить участь несчастных людей, и за его идеями стоит сострадание к людям. Лучше «кушетка» Фрейда, чем кулаки надзирателя и смиренная рубашка.

Было также выступление перед русской публикой, живущей в Вене.

Н.Р. Признайтесь, пишете ли Вы стихи, врывающиеся на лист бумаги из самой большой трещины трагического бытия? Не отталкиваете такие?

А.К. Жизнь трагична. Кто же этого не знает? Приведу один пример. Несколько десятилетий назад я написал стихотворение, из которого злонамеренные критики выдёргивали две последние строки и приписывали мне на их основании скрытый спор с Бродским, к которому эти стихи не имели никакого отношения. Прочту их:

В тот год я жил дурными новостями,
Бедой своей, и болью, и виною.
Сухими, воспаленными глазами
Смотрел на мир, мерцавший предо мною.

И мальчик не заслуживал вниманья,
И дачный пес, позевывавший нервно.
Трагическое мирозерцанье
Тем плохо, что оно высокомерно.

Так вот, две последние строки никак нельзя оторвать здесь от общего трагического смысла этого стихотворения. В нём я говорю о тяготах и бедах своей тогдашней жизни, и понятно, что эти строки надо воспринимать в контексте всего стихотворения, а оно как раз о горе и страдании. Но в то же время я не люблю ныть в стихах. И для меня замечательными примерами служат и Пастернак, и Мандельштам, обходившиеся без него. Если сравнивать нашу жизнь с судьбой Мандельштама, то просто стыдно становится за молодых поэтов, которые уже в двадцать лет плачут и стенают.

Н.Р. У Вас каждые десять лет выходит где-то по три книги новых стихов. Это случайность?

А.К. Да, так было и раньше: в 60-е, 70-е... Я думаю, что эту закономерность очень легко объяснить – просто за десять лет набираются стихи как раз для трёх книг. Только и всего.

Н.Р. Пробовали давать какие-то определения своему творческому методу? Хотя бы приблизительные.

А.К. Разумеется, для меня какие-то акмеистические основы очень важны. Прежде всего, Мандельштам и ранняя Ахматова. Ну, и Пастернак невероятно предметен, подробен, хотя в его стихах нередко всё перепутано и случайно, но он прелестен по-своему. Я люблю и Мандельштама, и Пастернака, а ещё больше – Анненского... Мне трудно давать характеристику своим стихам. Это не моё дело.

Н.Р. Вы можете назвать одно, самое любимое, стихотворение Пастернака?

А.К. Нет, самого любимого не могу назвать. Я люблю и «Сестру мою – жизнь», и «Темы и вариации», и «Второе рождение», а из поздних стихов очень дорожу «Августом» и «Вакханалией». К одному стихотворению свести моего Пастернака никак не возможно.

Н.Р. Ваша супруга Елена Невзглядова – довольно известный литературовед, кандидат филологических наук. Я с удовольствием читаю её работы по проблемам стихотворного языка. Были у неё попытки анализа Ваших стихов?

А.К. Да, у неё была статья о моих стихах в книге «Звук и смысл» (1998), и мне эта статья о моей книге «Таврический сад» (1984) кажется до сих пор одной из самых удачных. Она обратила внимание на интонационное своеобразие и новизну моих стихов, ведь интонация – душа стихотворения. Кроме того, Елена Всеволодовна – постоянный слушатель моих стихов, и я прислушиваюсь к её мнению. Наконец, она и сама пишет стихи, и я – их первый слушатель.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы от критиков многого натерпелись?

А.К. Ещё бы! Натерпелся всякого и в советское время, и в нынешнее. Но сегодня я не предаю этому прежнего значения. Возраст позволяет смотреть на многое по-другому, насмешливо и снисходительно.

Н.Р. Какие Вы можете назвать известные литературные журналы из российских, которые и по сей день сохраняют свою авторитетность?

А.К. Ни один журнал не сохранил своих прежних больших тиражей, но есть журналы, которые, кажется, стали лучше. Такова петербургская «Звезда». Её соредакторы Арьев и Гордин – люди образованные, культурные, талантливые и хорошо ведут журнал.

Н.Р. У Вас остались какие-то яркие впечатления от работы учителем русского языка и литературы в школе рабочей молодёжи?

А.К. Конечно, остались впечатления, а главное, я и сегодня считаю, что у поэта должна быть профессия, что нельзя только писать стихи. Это можно было в девятнадцатом веке, когда были крепостные крестьяне. Но я, во-первых, не хотел бы иметь крепостных крестьян, а во-вторых, очень важно для поэта вставать рано утром, ехать на работу в трамвае или автобусе и знать, что такое педагогический или, допустим, медицинский или инженерный коллектив, и просто видеть, как устроена нормальная человеческая жизнь.

Н.Р. Поддерживаете отношения с кем-то из воспитанников?

А.К. Нет, ведь это было сорок с лишним лет назад. Но я поддерживаю отношения с поэтами, посещавшими моё литобъединение в 70-е, 80-е, 90-е годы и позже.

Н.Р. Александр Семёнович, Вы в молодости участвовали в литобъединении при Горном институте. Это участие было плодотворным?

А.К. Конечно. Прежде всего, оно мне предоставило литературную среду. В юности, в молодости очень важно, чтобы рядом с тобой были пишущие люди, с которыми можно сравнить, сверить, сопоставить сделанное тобой и услышать чужое мнение о твоих стихах. Работать одному очень трудно. И недаром, допустим, вокруг Гумилёва толпилось множество молодых поэтов – они были заинтересованы в его внимании, в его подсказке. Кроме того, и Мандельштам, и Ахматова были рядом с ним,

— и вместе они создали своё новое направление в поэзии.

Н.Р. А как Вы рассматриваете свободу, которую Бог дал человеку: как Дар или как Наказание? Ведь человек чаще всего совсем не умеет ею пользоваться.

А.К. Всё-таки замечательно, что у человека есть выбор. Иначе мы бы ничего не создали: ни музыки, ни живописи, ни стихов, ни науки. Не было бы ни той жизни, которую мы ведём, ни той любви и так далее. Зачем же быть подневольным существом?

Н.Р. Почему Вы назвали свою книгу, которая была признана лучшей в номинации «Поэзия года» - 2011, «По эту сторону таинственной черты»?

А.К. Потому что мы живем по эту сторону таинственной черты, а что делается по ту, не знаем. Кроме того, именно с этой строки начинается одно из моих стихотворений.

Н.Р. А приходится чувствовать поддержку своих близких с «той стороны таинственной черты»?

А.К. Ну, иногда может так показаться — скажу осторожно. Мне чрезвычайно дорога и мифология, и Библия, и Евангелие, и самые разные древние поверья и представления. Они очень поэтичны, необходимы, и невозможно себе представить поэзию без берегов Леты или без рая — дантовского или какого-либо ещё. Но всё-

таки время от времени надо себя одёргивать. Можно посмотреть на эти вещи и другими глазами. Скажем так – чеховскими. Он не очень-то был уверен в бессмертии души – недаром был врачом. Подозревал, что там ничего нет. И вообще сомнение – такое понятное свойство в этом мире с его кровопролитными войнами, Освенцимом, сталинским Гулагом и т.д. Да и в более благоприятные времена Пушкин писал: «Мой ум упорствует, Надежду презирает: Ничтожество меня за гробом ожидает...», а Вяземский: «От смерти только смерти жду»...

Вообще отношения человека с Богом – это всё-таки интимное дело.

Н.Р. Как Вы расцениваете еkkлeзиастовское рассуждение о том, что «Всё – суeta суeta» (“*Vanitasvanitatumetomniavanitas*”) и «Что было, то и будет, и что творилось, то творится, и нет ничего нового под солнцем»?

А.К. У меня даже есть стихи по этому поводу, вошедшие в книгу «Летучая гряда»:

Я, единственный, может быть, из живущих
И когда-либо живших, с умнейшим спорю
И насчет суety, и насчет бегущих
Дней, бесследно и быстро, как реки к морю,
Череда золотая лугов цветущих,
Комнат, пляжей, оврагов, аудиторий.

Всё-таки есть некое прибавление объёма, «комнат, пляжей, аудиторий», хороши бы мы были хотя бы без зубной пасты и зубных врачей! Я дорожу цивилизацией, потому что... Далеко за примером ходить не надо. Представим

себе Петербург девятнадцатого века. Это вонь ассенизаторских телег, это отсутствие лифтов, необходимых вещей, которые мы называем «удобствами», отсутствие гигиены, чистой воды, общественного транспорта и так далее. И у меня есть стихотворение, которое начинается словами: «Вам не понравился бы Петербург десятих годов, не знаете вы ничего о нем! Повсюду дворники с навозом на лопатах, Что измелъчен в труху и ходит ходуном». Даже десятих годов, не говоря о середине или начале позапрошлого века! Сегодняшний город, при всех наших претензиях и недовольствах, несравненно лучше, чем прежний.

Н.Р. Вам не кажется, что время стало убыстрять свой ход? Оно во времена Александра Кушнера быстрее течёт, чем во времена Александра Пушкина?

А.К. Нет-нет. Помните Феклушу в «Грозе», которая считала, что время умалется? Мы в школе это проходили. И я не хочу ей уподобиться. Я считаю, что время обладает замечательным свойством растягиваться и сжиматься множество раз в течение жизни каждого человека. И каждый может сказать: «Ах, как оно долго тянется!» или наоборот: «Как быстро мчится!».

Н.Р. У Вас есть одно из поэтических определений души: «То, что мы должны вернуть, умирая, в лучшем виде». Прокомментируйте его, пожалуйста.

А.К. Я всё-таки думаю, что человек с возрастом, помимо накопления какого-то опыта, зна-

ний, всё-таки ещё выращивает в себе сочувствие к людям и внимание к ним в большей степени, чем в юности. Юность прекрасна, но несколько эгоистична, самодовольна. В юности думал, что я очень хороший человек. Почему я так думал, не знаю. Но я был в этом абсолютно уверен. Сейчас у меня на этот счёт есть сомнения, потому что жизнь – это не прямая дорога: ты задеваешь других людей, приносишь им огорчения... «И оглянувшись, весь в слезах, Ты видишь: рядом кто-то плачет». Каждый знает это по себе. Может быть, со временем душа становится мягче, лучше.

Н.Р. Александр Семёнович, может, дадите какое-то напутствие молодым начинающим поэтам?

А.К. Нет-нет-нет. Я напутствий никому никогда не даю по той простой причине, что не люблю учительства. Вот потому мне ещё и дорог Чехов, что он сторонился этого, стеснялся. А в Гоголе, Толстом, при всей моей любви к ним, учительство меня раздражает. Учительство – это гордыня. А Чехов был скромненький, – и это так прекрасно! Пушкин, кстати сказать, при всей его гениальности, тоже сторонился поучений и дидактики.

Н.Р. Тогда просто пожелание.

А.К. Что можно пожелать? Хороших стихов.

2011 г.

ТУРНИКЕТ

(интервью с Вероникой Долиной)

Турникет пропустил меня. Несколько переходов в метро показались бесконечными лабиринтами. Эскалатор брал меня на руки и куда-то тащил, пока не выбросил на одну из знаменитых московских улиц.

У заветного подъезда я встретила хрупкую женщину ручной работы. Её тонкость ещё больше подчёркивалась на контрасте с великаном Фанфаном – совершенно фантастической собакой из англичан (порода – бобтейл).

Сквозь простую обстановку квартиры Вероники Аркадьевны просматривалось что-то сказочное: в воздухе, как мне показалось, летали существа из мифологического средневековья – нечто, что можно было не увидеть, но почувствовать. Из угла зала на меня смотрела знаменитая «Люитера», изготовленная в единственном экземпляре специально для Вероники Долиной, – шестиструнная гитара и одновременно лютия.

За час до встречи диктофон на ровном месте сломался. Оставались мобильный телефон и ручка с блокнотом. Разговор начался:

Н.Р. Вероника Аркадьевна, откуда берутся стихи?

В.Д. Это такая биология. Это отчасти трудно, трудноопределимо, но не бесконечно трудно. Это просто биологическое время. Причём, это ещё очень-очень старые вещи. Есть у разных поэтов новейшего времени всякие хорошие определения, что это такая форма энергии, время, перетекающее через тебя, как через турникет.

Ты успеваешь сделать какие-то отметки, потребовать жетон, захлопнуть или раскрыть щупальца — ты можешь что-то успеть, а что-то и не успеть. Твоя задача — пропустить через себя время. Это ведь определяется очень рано, как биологическая задача в тебе. В разном возрасте и состояниях ощущается по-разному, но ты — инструмент, оптический или акустический, через который течёт время.

Н.Р. У нашего луганского поэта Владимира Спектора есть замечательные строчки: «Ничего не изменилось, Только время растворилось, И теперь течёт во мне...»... Существует такая гипотеза: якобы уже всё написано до нас, и мы, находясь в облаке вдохновения, просто извлекаем стихи из какой-то воздушной всемирной библиотеки — своеобразного сакрального аналога Интернета.

В.Д. Это само собой. Конечно, это моделируется. Но время — одна из первопричин. А поскольку время всё-таки, кроме того, что оно — хорошо темперированный клавир, оно всё-таки требует разных исполнителей. И каждый исполняет, как умеет, эту баховскую историю.

Н.Р. А как живётся поэту в Москве? Вы бы могли через призму присущей Вашему творчеству эстетики Средневековья описать своё ощущение сегодняшней Москвы?

В.Д. Мне очень трудно. Я думаю, что Москва, если пользоваться какими-то образами средневековыми, пытается испытывать ранний Ренессанс, перейти к гламуру, к слащавости.

Но это всё лежит на поверхности. На самом деле – слабейшая экономика, слабейший кодекс правил. Вернее, его нет, это так – скромно говоря. Уже есть свои доджи, свои герцоги, конечно же. А я – человек средневековый. У нас ведь всё очень просто в Средневековье. Проще, чище, значительно честнее, чем в ренессансные времена и французские, и итальянские. Мы-то, средневековые, совсем недавно поняли подлинный вкус огня и меча или воздуха и воды. Для нас все эти волшебные элементы природы находятся под рукой: такие, как деньги, такие, как деторождение, такие, как природа. Это же всё под рукой! Средневековье есть Средневековье.

Н.Р. Здесь – рыцари...

В.Д. Да, тут – рыцари, а тут – всё ещё друиды. Тут уже литература, свой подлинный язык; здесь – сказочничество, а тут уже – первые тиражи. Я с тоской смотрю на всё слащавое. Даже не с тоской, а обречённо. Таких, как я (из тех, кого ещё не похоронили), нас дохоронят всех в ближайшие десять лет. А они со своей слащавостью будут жить-поживать и, как им кажется, добра наживать.

Н.Р. Нет сейчас желания бросить Москву и уехать куда-нибудь в прекрасную глушь? У меня всё время лежат на поверхности памяти Ваши строчки: «Уедем отсюда прочь, / Оставим здесь свою тень <...> Ты будешь ходить в лес / С ловушками и ружьём. / О, как же весело здесь, / Как славно мы заживём!».

В.Д. Я уезжаю иногда, но для меня красивые места – это не всё, что для других человекoв. Иногда я хожу просто на Сретенку, где родилась. Могу там побыть пять или пятнадцать минут... и довольно хорошо подпитываюсь.

*Ибо Сретенка – это родинка,
Это до смерти не пройдёт...*

В.Д. Могу ещё в какое-нибудь милое место забраться. Могу оказаться на даче, которая была такой вот душевной и жизненной лабораторией моих родителей. Там тоже всё дышит и помогает. Могу пойти на кладбище к своим родителям, и это тоже – лаборатория. Уж никаких сомнений.

А могу пойти на кладбище, где лежат Булат Шалвович Окуджава и моя учительница Елизавета Соломоновна в совершенно соседних кварталах Ваганьково. И это тоже моё специальное место. А иногда уезжаю во Францию. И там дышу, конечно же, другим воздухом и другой грудью.

Н.Р. Да, я знаю, что у Вас есть домик во Франции. Не рассекретите, в каком городе?

В.Д. Рассекречу. Тут нет ничего такого особенного. Это в Нормандии, городок называется Лизьё.

Н.Р. Отличается чем-то вдохновение русское от французского?

В.Д. Понятия не имею. Думаю, что у них по-прагматичнее, у французов, а у меня... Просто

там для меня – чистая свобода. Там – нетто, а тут – брутто. Я же там вообще без ничего земного. Я там даже уклоняюсь от преследования детей и внуков частенько.

Н.Р. Убегаете?

В.Д. Да, уклоняюсь, конечно, но ненадолго – они настигают, они знают все эти маршруты.

Н.Р. Я, честно говоря, до недавнего времени не знала, что Вы по образованию – учитель французского языка. Меня совершенно поразили Ваши переводы лэ (песен, поэм) Марии Французской, жившей в далёком XII веке. Работаете ли Вы над другими переводами?

В.Д. Нет, это разовая акция. И я не знаю, будет ли следующая. Это я себе сделала такой подарок. Перевела летом двенадцать поэм – взяла весь корпус её лэ, много возилась с источниками, работая и здесь, и во Франции. Ездила в Бретань, рассматривала все эти места, всю эту ономастику изучала, этимологию.

Н.Р. Очень тонкая работа у Вас получилась.

В.Д. Даже лучше, чем кажется. Я бы эти вещи издала везде: хоть в «Учпедгизе», хоть в издательстве «Энигма», хоть в «Вита Нова», которое в Питере издаёт неслыханные какие-то вещи малыми тиражами. Я считаю, что наш здешний всеобщий мозг был очень обеднён полным отсутствием текстов Марии Французской. И я непременно хочу, чтобы дети и подростки их прочли в моём исполнении.

Н.Р. А Ваши старые стихи как-то по-новому со временем открывались?

В.Д. Да, бывало, конечно, но о чём я Вам расскажу?

Н.Р. Ну, вообще: текст сильнее автора?

В.Д. Конечно. Более того, скажу Вам такую тайную или явную вещь: он сильнее, чем время. Таков сгусток – это время, отлитое в специальную форму. Таков сгусток этого материала, такая проницаемость через время и пространство, это и есть поэтически важная составляющая. Очень важен момент, даже всего лишь взвук, в скромнейших знаках записанный.

Н.Р. У Достоевского, например, я нашла столько интересных вещей, которые он сам вряд ли закладывал в свои тексты. Причём, не вырывала из контекста, а действительно просматривала на большом фактическом материале.

В.Д. А я в очередной раз вожусь со стихами Мандельштама. Хочу сделать своё прочтение. Я на самом деле очень застенчиво к этому отношусь, мне противно самозванство. Хочу выглядеть естественно, а не самозвано, но всё равно буду самозванной. Я даже в истории с Марией Французской сколько-то, но самозванна.

Творчество Мандельштама – это же волшебство абсолютно вневременное. Сколько там всего про наше время, какие жёсткости. Ну, всё, что вы хотите. Курва-Москва, например.

Мне почему-то кажется, что Москва 20-30-х годов была ещё такая уютная, так изобильна на культурные реалии, на уймищу интеллигентнейших людей. А у Мандельштама поднялась рука написать «курва-Москва». У меня, например, не поднимается рука такое написать. Я очень опасаюсь этого, очень опасаюсь.

Н.Р. Вероника Аркадьевна, в фильме Вашего мужа, кинорежиссёра Александра Муратова, «Умница-красавица» звучит несколько Ваших песен. Они совершенно гармонично вписались в фильм. Ваш муж сам решил их использовать? Кому в голову пришла эта идея?

В.Д. Это мои старые песни. Это из наших старых резервуаров зачерпнуто. Я их сама попросила взять. Частенько так делаю. Я ему говорю: «Ну, что это такое?» в режиме сухой ложки, которая горло дерёт. «У тебя, – говорю, – сплошные сантименты там. Бери вот из наших россыпей, сколько хочешь». Он вот и берёт иногда.

Н.Р. Он, наверное, восхищается своей талантливой женой?

В.Д. По-моему, он очень буднично к этому относится.

Н.Р. Могли бы Вы на себя перенести определение Йохана Хёйзинги «homoludens» – «человек играющий»?

В.Д. Очень хорошо могла бы, очень хорошо. Хёйзинга – точно! Я просто уверена: хоть и не

я придумала слова для этой известной формулы, но я бы именно этими двумя словами воспользовалась. Конечно, придумывающий образ, конечно – театрализирующий, сценарирующий свой день. А без этого неинтересно, без этого человек – не совсем человек. Это в каждой моей строчке видно.

Н.Р. А в духовном плане Вы себе высокие требования предъявляете?

В.Д. Не низкие. Мне так кажется. Для на Руси живущих... да. Да, у меня такой свой кодекс есть.

Н.Р. Я вот всё размышляю над значением Вашей фамилии. Долина в переводе с украинского – фактически Судьбина, с иврита – Граальская («гораль» - судьба)... У Вас ведь даже был пёс по кличке Грааль... Вообще чаша Грааля – эмблема евхаристического таинства. А как Вы относитесь к таинствам исповеди и причастия?

В.Д. Я отвечу, как могу. Просто я не христианин нисколько. А идея исповеди и причастия мне не близка, но я, конечно, понимаю, что за этим стоит, и концепцию. Я, конечно, понимаю.

Н.Р. Понимаете, но не принимаете?

В.Д. Нет. Философия покаяния мне бесконечно не близка. Об этом просто не может быть и речи. Я же строптивый апассионарий, я же подлинно еврейский человек. Мы древнее

христиан. Я вот совсем недавно, всего пару недель назад была на Украине на могиле старинного еврейского святого Нахмана из Умани, но как бы не проповедника, а концептуалиста, основоположника хасидизма. Это старинная концепция прямых отношений человека и Бога, прямой отчётности. Речь идёт о прямом влиянии на судьбу человека с учётом Торы, Ветхого Завета, с учётом Писания. Над могилой святого Нахмана читаются Псалмы Давидовы, а не какие-то там неслыханные заклинательные речи. Абсолютно человеческий поэтический текст читается.

Н.Р. Я знаю, что в детстве Вы были очень активной читательницей. Кому-то из классиков отдавали предпочтение? Пушкину, например?

В.Д. Ну, он не главный воодушевитель моей юности.

Н.Р. А можете назвать главного? Или их было очень много?

В.Д. Много. И это притом, что на самом деле горизонт был по-своему скуден, по-своему... Мне многого не доставало, и какие-то вещи попадали как находки. Старика Ростана я где-то обнаружила и совершенно обезумела, насколько это прекрасней, чем «Три мушкетёра», которых я обожала. «Ой, – думаю, – Боже мой, Боже мой! Какая чудесная вещь!». Она ещё вся-вся в стихах, такие же «Три мушкетёра», но всё со специальной концепцией, с идеей, как вы говорили, Хёйзинги «человек играющий». Тут ещё и маска, и многослойная реальность!

Н.Р. Когда к Вам пришла известность, трудно было проходить первые испытания славой?

В.Д. Нет, Наташ, этого не было ничего. Это очень просто было. Никакой попсовой концепции не было. Концепция, кстати, здесь была очень уютно устроена. Видимо, это была такая концепция кантри, что ли. Человек, в сущности, из простонародья, даже если он из инженерного среднестатистического интеллигентного сословия, но всё равно из простонародья, ну, конечно, не «калинка-малинка», а предлагает свои стихи, он устраивается как кантри-певец. Что-то вроде этого: очень самодельно устраиваются его концерты, у него прямые отношения с публикой (к вопросу о хасидизме), они не опосредованы. Я же и по сей день живу без агентов, без администрирования. Это прямые отношения с концертами, с теми, кто даёт тебе работу и устраивает твою жизнь, оснащает её публикой. Здесь не веет никаким благоустройством. Это прямые ремесленные отношения. Так было и в 1980 году, так и по сей день. Так что со словом «слава» я знакома очень слабо. Со словом «популярность» не знакома вообще. Есть, конечно, какая-то моя узнаваемость на зрительном или слуховом уровне, но, как я говорила ещё лет двадцать назад: «Да я в метро скорее опознаю своего слушателя, чем он меня!».

Н.Р. Неправда.

В.Д. Правда! Всё – в меру. Я, правда, знаю множество маленьких Вероник, которые не без моего невидимого участия были так названы.

Но это объясняется просто – моё имя было какой-то экзотикой в Москве. И я не против, чтоб его прибавилось.

Н.Р. Как Ваше имя переводится?

В.Д. Вероника – истинный образ. И на всяком европейском языке говорящий человек запросто себе переводит слово «Вероника».

Н.Р. В ваших стихах часто появляются крылья, Вы любите совершать полёты. Сейчас они участились или стали реже?

В.Д. Нет-нет-нет. Конечно, не участились. Мы люди взрослые, мы же уже бабушка шестерых внуков! И так прям сразу не улетишь куда-нибудь.

Н.Р. Совсем некогда летать?

В.Д. Нет, всё есть. Всё тоже есть.

*Как ни грело всё, что мило,
Как ни ластилось к плечу –
Я вчера была бескрыла,
А сегодня – полечу!*

Н.Р. Приходилось ли Вам учиться «обузды-вать» вдохновение?

В.Д. Я очень буднична. Я с книжкой, как и с блокнотом, почти всегда. Но не всегда, конечно. Обуздывать? Не такой уж я фонтан. Обуздывать – это семья, например, вот это было для баланса. Когда я придумала, что из ничего

можно сделать ещё одного ребёнка, а потом и ещё одного, я была в восторге! Вот, думаю, сейчас же мы себя от демонов пожизненно избавим, поскольку всегда нужны будут утром – каша, вечером – стирка. И точно! Так и оказалось.

Н.Р. Ваш первый поэтический сборник вышел в 1989 году в Париже по инициативе двух Ваших поклонников.

В.Д. В 1987!

Н.Р. А позже выходили Ваши книги или диски во Франции?

В.Д. Нет, один безумный издатель в Америке когда-то маленький тиражик моей пластинки сделал. Даже не помню, чем он это мотивировал. Нет-нет, подлинно какие-то настоящие западные издания не выходили. Я живу обособленно. Я не участник мейнстрима – большого литературного процесса. Когда на границе 90-х гг. был высок, даже наэлектризован интерес Запада к нам, западноевропейских кафедр славистики, да и не только западных – Англия, Германия, Швейцария, Япония, – все тянули руки к любому сколько-нибудь весомому поэту, писателю, и мы ещё много выезжали.

А потом этот интерес весь пошёл, потому что в середине 90-х, в конце 90-х в нашей стране был огромный откат в культуре и, конечно же, в поэзии. Откат – это откат. Всё не так в здешней культуре и в основной концепции развития свободного человека здесь сложилось. И просто финансирование всех кафедр слависти-

ки усохло в Америке и во всей Западной Европе, и интерес к нам практически прекратился.

Н.Р. Сейчас он возрождается?

В.Д. А я не вижу никаких признаков. Если учесть буклеты тех времён, когда ехали одновременно все: как первый писатель – Володя Сорокин, как первый поэт – Лёша Парщиков или Саша Ерёменко, как первый поэт с гитарой – примерно я, как первый дамский поэт из Питера – Елена Шварц. Мы представляли из себя брошюры, мы были как бы корпусом поэтическим того времени. Но это всё давно закончилось, от этого не найти и следов.

Н.Р. Вы вообще доверчиво относитесь к жизни?

В.Д. С реальностью мы сотрудничаем. Но крупной любви к реальности я не испытываю. Ну, что делать? Это как в бухгалтерии – зависимость от неё есть, но особым обаянием она не отличается. А вот, кстати, с деньгами, например, раз уж говорить о бухгалтерии, я дружу. Вот с такой частью реальности, вполне волшебной. С деньгами я дружу. И уловлено это мною было уже очень давно – ещё в очень юные годы.

Н.Р. Обычно поэты не дружат с деньгами.

В.Д. Дружат-дружат, дружат! Надо деликатно, надо с ними договариваться в очень молодые годы. Никакого скряжничества, Наташа, и чего-то такого прочего я несколько не имею ввиду. А именно такую волшебную категорию

денег. Они диктуют массу вещей, они очень крепкими ножками стоят в нашей жизни.

Н.Р. Ещё полюбопытствую: как произошло Ваше знакомство с Юнной Мориц?

В.Д. Это старая история. История из мира какого-нибудь 82-83 года. По-моему, это перво-знакомство было на базе журнала «Юность». В нём в 80-ом меня впервые напечатали, а тогда было что-то вроде маленьких праздников, каких-то круглых столов в редакции, где можно было увидеть разных хороших людей.

Меня поражало, что редакция начинала работать в двенадцать, а в два часа они уезжали на автобусе в «Правдинскую» столовую обедать, и дальше две трети редакции, кроме технического персонала, уже не возвращалось. Их рабочий день меня изумлял совершенно! А в лучшие дни, когда они созывали людей на вечеринку, было очень славно. Роберт Иванович Рождественский приходил... Всё это клубилось... Как-то было славно! Я попала в их круг. Тогда мои записи широко и глубоко расходились. И такой был поэт, да и есть, Вадим Ковда. Он отнёс то ли мои стихи, то ли записи в редакцию журнала «Юность», и они очень мило отнеслись к ним. Там были такие поэты: Николай Новиков и Натан Злотников. Их уж нет. Они вытащили меня познакомиться — хотели всяких смешных исправлений в стихах.

Н.Р. А помните, каких?

В.Д. Например, их раздражало: «Для бродячих моряков — / Маяков есть пламя. / Я — горя-

щих мотыльков / Маленькое знамя». Вот какие строки были. И они – два московских поэта, абсолютно хорошие, образованные и расположенные ко мне люди, – подпёрли свои подбородки руками и спрашивали: «Каких бродячих моряков? Что ты имеешь ввиду? Каких бродячих моряков?». Тема отъездов была табуирована, а тут – бродячие моряки. Я объясняла: «Ну, каждый моряк – это же путешественник!». Они предлагали убрать «бродячих моряков», а я говорю: «Ну, как же? Тут же внутренняя рифма. Давайте не будем ничего менять». В результате вступился Андрей Дмитриевич Дементьев, и стихи прошли в таком несгибаемом виде. Но вот так было, таковы были правила игр в те времена.

Юнна Мориц взялась оттуда же. Я попала на совещание молодых литераторов под Москвой, и она была руководителем моих семинаров. И так завязались милые отношения. Год-другой длились. Она такая деятельная, с басовитым таким голосом. Как-то мне позвонила и спросила: «Как ты живёшь?». По-моему, к тому времени у меня было двое, а может быть, даже трое детей. Мы жили в однокомнатной квартире с мужем – доктором наук – и тремя детьми. Она тогда пообещала: «Помогу тебе! Помогу!». И больше никогда ни одного звонка. Что она имела ввиду? Но тогда поэты были в чём-то могущие люди в Москве. Не все, конечно, были депутатами Моссовета, как Андрей Дмитриевич. Он-то и помог в результате.

Н.Р. Квартиру всё-таки дали?

В.Д. Квартиру дали. В 1984 году я уже была мамой троих детей. Мне не положено было ни декретных выплат, ничего, поскольку я была творческим работником и шла по категории «неработающая женщина». И не работающая, и не учащаяся. И, к моему изумлению, я никогда не получала декретных выплат. Это было смешно, когда пришло время родить уже в новейшее время в 1995 году.

Н.Р. Матвея.

В.Д. Матвея, да. Я была уже давно членом Союза писателей, отправилась в Литфонд, говорю: «Братцы! Но теперь ведь всё возможно без курьёзов. Не может быть, чтоб мне не положены были декретные. Может быть, разовое пособие на ребёнка?». Но мне бережно объяснили, что я снова...

Н.Р. И так и не...

В.Д. Нет-нет, никогда!

Н.Р. И всё это легло на Ваши хрупкие плечи?

В.Д. Да нет, ну, какие плечи? Это же всё смешно – такие социальные крючки были, на которые это несовершенно общество ловило молоденьких женщин, но у меня свои крючки были – я сама себе придумала четверых детей. Я никогда не ждала никаких милостей от здешней природы. И не дождалась.

Н.Р. А всё-таки здорово иметь четырёх детей, да и ещё настолько успешных в жизни! Ваш

старший сын Антон – дважды лауреат премии Гильдии киноведов и кинокритиков, сын Олег – известный киноактёр, дочка Ася – талантливый журналист и музыкант, у Матвея ещё всё впереди. Вы, наверное, очень счастливая мама?

В.Д. А я всё это сама устраивала. Я всю эту схему придумывала и осуществляла.

Н.Р. Советовали им выбирать профессию?

В.Д. Нет, не так. Нет, я кое-кого даже за руку вела в школу лет в 13-14. Я помогала какими-то вещами, но дальше они старались, видимо, какой-то ветер нюхать сами, потом. Моя задача – лучше доутробно что-то придумать, а внутриутробно – хорошо питаться. А когда выйдет на свободу, тоже хорошо питаться. А там уж – какую Бог даст профессию. Неплохо, чтобы хлебную, но...

Н.Р. Главное ведь – духовные основы заложить.

В.Д. Конечно, конечно.

Н.Р. Вероника Аркадьевна, а сбывалось ли у Вас спетое? Есть ли у Вас стихи в виде мини-пророчеств? Вы ведь даже смерть Булата Шалвовича предсказали в стихопесне «Не пускайте поэта в Париж»: «Не пускайте поэта в Париж, / Он поедет, простудится, сляжет...». Как известно, Булат Окуджава умер в Париже, в госпитале. По медицинскому заключению – от гриппозной инфекции.

В.Д. «Не пускайте поэта в Париж»? Ну, конечно, конечно. Это было моё собственное такое заклинательное упражнение. Я даже и не мечтала попасть во Францию. Я думала, что моему поколению туда и не добраться. Когда кто-то поехал ещё в 80-е, я помню, как печально сказала: «Ты сойди с трапа и скажи моему Парижику: «Привет тебе от Веронички!»». И это не шутка никакая. Я и сейчас, уезжая оттуда, целую воздух на трапе самолёта. И из Москвы уезжая тоже целую, потому что боюсь, что Москва меня будет неправильно вспоминать в моё отсутствие.

*Годы прошли.
Похвалил меня Пушкин.
Простил меня Кушнер.
Не стало Булата.*

В.Д. Что ещё сбылось?.. Было чем-то невероятным, к примеру, когда я написала в 85-м году «Мой дом летает». Моё семейство состояло тогда из мужчины, троих детей и собаки. Просто каждый локоть упирался в стену – так было тесно. Мы жили в однокомнатной квартире, но единственно, что очень весело, задорно жили, в хорошем настроении. И я с любовью написала, что мой дом летает. И на той же неделе получила ордер на новую квартиру. Просто на той неделе. Это было стремительно – три-четыре дня дистанции. И я не могла не обратить на это внимания, потому что не успела я пропеть разочек на людях «Никто не знает, что мой дом летает», как всё это неожиданно произошло.

Н.Р. У Вас нет усталости от Вашего более чем активного образа жизни с гастролями по всему миру, с постоянным выходом новых книг и дисков? Каждый год Вы обязательно что-то издаёте, диски записываете. Не устали от такой неугасающей востребованности?

В.Д. А я сама себе всё это придумываю. И сама осуществляю. Когда из задуманного на год получается половина, я очень себя приветствую. Когда чуть больше половины, я даже себя хвалю. Это моя как бы зеркальноотражательная программа последних трёх лет, когда я стала себя хвалить и поддерживать тем самым. В другом виде это не то чтобы скучно, не то чтобы немыслимо, а убийственно. Очень легко помереть, если не то чтобы жить беззубо, а просто стена такова, что следует быть не Дантесом, конечно, но... Первый камень, может быть, и упадёт, но надо, чтобы в другой камере оказался аббат Фариа, который покажет карту и обучит языку, научит читать и писать как следует, и мыслить иначе. Детей я в точности именно этому и обучала.

Н.Р. Поэтому они у Вас такие успешные?

В.Д. Но они не такие уж, Наташ, многое кажется, многое иллюзорно. Но если даже кажется, то это важно. Я хотела, чтобы дети видели, что можно утром что-то задумать, а вечером осуществить, зимой непременно задумать и летом осуществить, летом задумаешь – зимой получаешь; в должное время зачал ребёнка, и ты никуда не денешься, ты его получишь через девять месяцев. Я так придумала, я же сказала о

факторе времени. Смотри, например, какие у природы на женщину планы? Каждый месяц ей подаются знаки. Как так? Вообще всем дамам всего мира даются каждый месяц знаки. «Что за знаки такие? Что такое?» – думаю. А в году кто-то придумал и вбил множеству людей в голову 365 дней! Может, из этого можно что-нибудь извлечь?! Может быть, триста дней – специальные, шестьдесят – необыкновенные, а пять – совершенно какие-то превосходные? И эти степени для меня были очень важны. Я была девочкой лет двенадцати, когда такие вещи заметила. Я блокноты писала лет с четырнадцати. Мне всегда казалось, что жизнь – очень короткая, очень короткая, и мы будем очень недолгими, и тогда надо быть эффективным, чтоб не было стыдно. Кругом – трамваи, а если ты не осторожен... Ты же живой, значит, после тебя должно остаться что-то живое. Значит, хотя бы пиши.

Тут время на минутку задержалось, турникетные щупальца бережно его пропустили, и снова зазвучало слово. Снова ожило слово поэтессы по имени Вероника.

*...Был же лепесток, был невинный фрукт,
А теперь засахарен – стал цукат.
Вот тебе итог – беспричинный труд,
А не то чтоб мёд или слёт цикад...*

2011 г.

ЧЕЛОВЕК ДОСТОЕВСКОГО

(интервью с Николаем Наседкиным)

«Всем “людям Достоевского” посвящается»... Этими словами открывается первая в мире энциклопедия, в которой собраны сведения обо всех произведениях и персонажах Ф.М.Достоевского, а также о людях и понятиях, так или иначе связанных с именем писателя. Эта книга российского прозаика, литературоведа и просто «человека Достоевского» Николая Наседкина стала замечательным путеводителем по огромному миру писателя.

– Николай Николаевич, расскажите, пожалуйста, с чего началась Ваша любовь к Фёдору Михайловичу Достоевскому?

– С романа «Униженные и оскорблённые», который я случайно открыл-прочёл в 17 лет. Именно – случайно. В школе, как и многие недоросли, я Достоевского каким-то образом пропустил мимо внимания, а в один из летних дней, уже сдав выпускные экзамены, набрал в районной библиотеке (я жил тогда в райцентре под Абаканом в Сибири), как обычно, кипу книг, прихватил и подвернувшихся под руку «Униженных...». Как только я этот роман дома открыл и прочёл-впитал первые страницы, так оторваться не смог, пока не проглотил. Это был шок! Я тут же побежал обратно в библиотеку, взял собрание сочинений Достоевского в 10 томах и пока не впитал все от корки до корки – не спал и почти не ел три дня и две ночи. Как это случалось и до меня с «людьми Достоевского», и будет случаться после – я этим писа-

телем заболел. С того лета 1970-го года я сначала ненасытно читал-перечитывал произведения Достоевского, а потом, уже учась в Московском университете, начал и писать исследовательские работы по его творчеству, диплом защитил на тему «Герой-литератор в мире Достоевского». Затем начал и книги выпускать: пособие для школьников и студентов по «Преступлению и наказанию», сборник работ «Достоевский: портрет через авторский текст», трактат-исследование «Самоубийство Достоевского: Тема суицида в жизни и творчестве писателя» и, наконец, энциклопедию «Достоевский».

— *Глядя на Вашу энциклопедию в 800 страниц, трудно поверить, что это труд одного человека. Как долго Вы её создавали?*

— Мне и самому с трудом верится! Можно сказать, что я 30 лет читал-изучал Достоевского, накапливал материал, а потом, когда Московское издательство «Алгоритм», где готовилась к изданию моя книга «Самоубийство Достоевского», предложило мне «замахнуться» на энциклопедию о писателе, я, после мучительных размышлений, всё же согласился и полтора года оформлял-выстраивал материал в компьютере непосредственно в виде энциклопедии. Самая сложность как раз оказалась в том, чтобы необъятный материал втиснуть всего в один 800-страничный том. Если бы энциклопедия была в трёх томах — было бы легче над ней работать. Во многом удалось справиться с труднейшей задачей благодаря тому, что я придумал-применил новаторскую форму для энциклопедий: расположил статьи не в сквозном алфавитном поряд-

ке, а разбил на три основных раздела (как бы на три тома внутри одной книги) – «Произведения», «Персонажи» и «Вокруг Достоевского».

– Известно, что московское издание энциклопедии в 2003 году – не единственное. Какова её дальнейшая издательская судьба?

– Да, в 2003 году она вышла в издательстве «Алгоритм», совсем недавно, в 2008-м, «Алгоритм» уже совместно с крупнейшим российским издательством «Эксмо» выпустили 2-е, исправленное и дополненное, издание. А до этого энциклопедия была переведена на сербский язык и вышла в Черногории, готовится издание в Польше... Рано или поздно, я верю, она разойдётся по всему миру: Достоевский – он и в Африке Достоевский.

– В 2007 году Вы получили диплом престижной российской премии «Хрустальная роза Виктора Розова» за энциклопедию «Достоевский». Расскажите подробнее о церемонии награждения.

– Да, диплом и медаль «Хрустальной розы Виктора Розова», как было сформулировано, «за создание уникальной энциклопедии». Награждение проходило в стенах МХАТ на Тверском бульваре, и мне особенно приятно, что первым и особенно горячо поздравил меня (выскочив на сцену и обняв) известный наш актёр, поэт, бард Михаил Ножкин, член оргкомитета премии.

Добавлю, впрочем, что наивысшей наградой для меня стали десятки рецензий и отзывов как профессиональных критиков в журналах, газе-

тах, Интернете, так и писем читателей по электронной почте, которые практически единодушно очень высоко оценили мой труд.

— Если не ошибаюсь, в Вашем романе «Алкаш» есть упоминание о городе Ворошиловграде. Что связывает Вас с Ворошиловградом-Луганском?

— Дело в том, что в Вашем замечательном городе много лет жил-обитал мой родной дядя Вадим Николаевич Наседкин. Впервые я приехал к нему из Сибири в тогдашний Ворошиловград ещё после 9-го класса и гостил почти всё лето. Затем, уже после окончания школы, я переехал к дяде, что называется, насовсем. Жил он тогда в самом центре, но в частном доме на улице 2-й Донецкой (сейчас это улица Братьев Палкиных). Я работал слесарем на заводе «Рембыттехника», выбирал, куда мне поступать учиться... Однако ж обстоятельства сложились так, что через год мне пришлось вернуться домой в Сибирь, но, когда позже я учился в Московском университете, то не раз из столицы наезжал погостить к дяде в Луганск и сохранил об этом городе самые светлые воспоминания. Так что в общей сложности я прожил в Луганске года полтора. Не так давно, в 2005 году, я наконец после более чем 20-летнего перерыва вновь побывал в Вашем (моём!) городе и убедился, что он стал ещё краше, уютнее, притягательнее и по-прежнему для меня родной. Очень надеюсь, что ещё не раз доведётся пройти по его улицам...

2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Литературно-критические статьи

Сакральный хронотоп в поэзии <i>Дмитрия Мизгулина</i>	4
Космический Петербург <i>Галины Илюхиной</i> . .	12
Социально-политическая проблематика в поэзии <i>Алексея Ахматова</i>	19

Интервью

Родовая память (интервью с <i>Дмитрием Достоевским</i>)	26
Помнящий родство (интервью с <i>Борисом Орловым</i>)	30
У Таврического Сада (интервью с <i>Александром Кушнером</i>)	38
Турникет (интервью с <i>Вероникой Долиной</i>)	56
Человек Достоевского (интервью с <i>Николаем Наседкиным</i>)	76

Редактор серии *Алексей Ахматов*
Редактор *Юлия Медведева*
Корректор *Олег Шабуня*
Дизайн обложки *Екатерина Дедух*

Подписано к печати 18.12.2015. Формат 84 × 100 1/32.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 3,9.
Тираж 500 экз. Заказ № 274Р.

Отпечатано в соответствии с предоставленным
оригинал-макетом в типографии
издательско-полиграфической фирмы «Реноме»,
192007 СПб., наб. Обводного канала, д. 40.
Тел./факс (812) 766-05-66. E-mail: renome@comlink.spb.ru.
www.renomespb.ru